



Чак Паланик



жизни — это просто домашние проводки, которых Бог спорил в уплату.

Новогодний

Annotation

Это – Чак Паланик, какого вы не то что не знаете – но не можете даже вообразить. Вы полагаете, что ничего стильнее и болезненнее «Бойцовского клуба» написать невозможно? Тогда просто прочтайте «Колыбельную! ...СВСМ. Синдром внезапной смерти младенцев. Каждый год семь тысяч детишек грудного возраста умирают без всякой видимой причины – просто засыпают и больше не просыпаются... Синдром «смерти в колыбельке»? Или – СМЕРТЬ ПОД «КОЛЫБЕЛЬНУЮ»? Под колыбельную, которую, как говорят, «в некоторых древних культурах пели детям во время голода и засухи. Или когда племя так разрасталось, что уже не могло прокормиться на своей земле». Под колыбельную, которую пели изувеченным в битве и смертельно больным – всем, кому лучше было бы умереть. Тихо. Без боли. Без мучений... Это – «Колыбельная».

- [Чак Паланик](#)

-
-
- [Пролог](#)
- [Глава первая](#)
- [Глава вторая](#)
- [Глава третья](#)
- [Глава четвертая](#)
- [Глава пятая](#)
- [Глава шестая](#)
- [Глава седьмая](#)
- [Глава восьмая](#)
- [Глава девятая](#)
- [Глава десятая](#)
- [Глава одиннадцатая](#)
- [Глава двенадцатая](#)
- [Глава тринадцатая](#)
- [Глава четырнадцатая](#)
- [Глава пятнадцатая](#)
- [Глава шестнадцатая](#)
- [Глава семнадцатая](#)
- [Глава восемнадцатая](#)

- [Глава девятнадцатая](#)
 - [Глава двадцатая](#)
 - [Глава двадцать первая](#)
 - [Глава двадцать вторая](#)
 - [Глава двадцать третья](#)
 - [Глава двадцать четвертая](#)
 - [Глава двадцать пятая](#)
 - [Глава двадцать шестая](#)
 - [Глава двадцать седьмая](#)
 - [Глава двадцать восьмая](#)
 - [Глава двадцать девятая](#)
 - [Глава тридцатая](#)
 - [Глава тридцать первая](#)
 - [Глава тридцать вторая](#)
 - [Глава тридцать третья](#)
 - [Глава тридцать четвертая](#)
 - [Глава тридцать пятая](#)
 - [Глава тридцать шестая](#)
 - [Глава тридцать седьмая](#)
 - [Глава тридцать восьмая](#)
 - [Глава тридцать девятая](#)
 - [Глава сороковая](#)
 - [Глава сорок первая](#)
 - [Глава сорок вторая](#)
 - [Глава сорок третья](#)
 - [Глава сорок четвертая](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
-

Чак Паланик

Колыбельная

Печатается с разрешения автора и литературных агентств Donadio & Olson, Inc. и Andrew Nurnberg.; © Chuck Palahniuk, 2002

© Перевод. Т. Ю. Покидаева, 2002

© ООО Издательство «АСТ МОСКВА», 2009

*Палки и камни могут и покалечить, а слова по лбу
не бьют.*

Посвящение следует

Пролог

Поначалу новые хозяева делают вид, что не смотрят на пол в гостиной. То есть особенно не приглядываются. Не тогда, когда смотрят дом в первый раз. И не тогда, когда перевозят вещи. Они измеряют комнаты, распоряжаются, куда ставить диваны и пианино, распаковывают коробки, и во всей этой суете у них не находится времени, чтобы посмотреть на пол в гостиной. Они делают вид.

А потом, в первое утро на новом месте, они спускаются вниз, и вот оно, нацарапано на дубовом паркете:

УБИРАЙТЕСЬ

Одни хозяева делают вид, что это шутка кого-нибудь из приятелей. Другие уверены, что это все потому, что они не приплатили носильщикам.

А еще через пару ночей начинается детский плач – из северной стены хозяйской спальни.

Обычно тогда они и звонят.

Очередной новый хозяин на телефоне – это вовсе не то, что нужно нашей героине, Элен Гувер Бойль, в это конкретное утро.

Все эти заикания и рыдания в трубку.

А что ей нужно, так это еще одна чашка кофе и домашняя птица из семи букв. Ей нужно прослушать радиосканер, пеленгующий полицейскую частоту, чтобы быть в курсе событий. Элен Бойль щелкает пальцами, пока в дверях не появляется секретарша. Наша героиня прикрывает телефонную трубку обеими руками и кивает на радиосканер:

– Там код девять-одиннадцать.

Секретарша, ее зовут Мона, пожимает плечами и говорит:

– И чего?

Она проверяет по справочнику и говорит:

– Расслабься. Это кража в магазине.

Убийства, самоубийства, серийные убийства, случайные передозировки – нельзя дожидаться, пока сообщения об этом появятся на первых полосах газет. Нельзя, чтобы какой-то другой посредник обставил тебя в гонке за очередным перспективным клиентом.

Элен нужно, чтобы новый хозяин дома № 325 на Крествуд-террас

заткнулся хотя бы на полминуты.

Разумеется, неизменное УБИРАЙТЕСЬ образовалось на полу в гостиной. Странно другое: как правило, детский плач начинается только на третью ночь. Сначала – призрачное послание, потом – детский плач на всю ночь. Если хозяевам хватит смелости продержаться неделю, они обязательно позвонят на восьмой день – насчет лица, которое отражается в ванной, когда в нее набирают воду. Одутловатое сморщенное лицо с черными провалами вместо глаз.

В начале третьей недели появляются призрачные тени, которые медленно кружат по стенам столовой, когда семья собирается за столом. Наверное, это еще не конец, но никто пока не выдерживал больше трех недель.

Элен Гувер Бойль говорит в трубку:

– А вы уверены, что сумеете доказать на суде, что этот дом непригоден для жизни, вы уверены, что сумеете доказать, что предыдущие хозяева знали, что там происходит... – Она говорит: – Я вам скажу. – Она говорит: – Вы проиграете дело, о доме пойдет дурная слава... кстати, вашими же стараниями... и вы его не продадите даже за полцены.

Это неплохой дом, № 325 на Крествуд-террас: в стиле эпохи английских Тюдоров, новая крыша из современных материалов, четыре спальни, три ванные, еще один дополнительный туалет. При доме – бассейн. Нашей героине даже не нужно смотреть каталог. Этот дом она продавала шесть раз за последние два года.

Еще один дом, на Этон-корт, типичный для Новой Англии домик, двухэтажный с фасада и одноэтажный с тыла, шесть спален, четыре ванные, лестничная площадка обшита панелями из сосны, и кровь растекается по стенам кухни. Этот дом она продавала восемь раз за последние четыре года.

Новому хозяину она говорит:

– Подождите минутку на линии, – и жмет красную кнопку.

Сегодня Элен во всем белом: белый костюм и туфли. Только это не ослепительно снежно-белый, а белый, как трасса для горнолыжного спуска на канадском курорте Банфф, с личной машиной, с наемным шофером, четырнадцатью стильными чемоданами, подобранными друг к другу, и номером в отеле «Лейк-Луис».

Повернувшись к двери, наша героиня говорит:

– Мона? Лунный луч? – И чуть громче: – Бесплотная дева?

Она стучит ручкой по сложенной вчетверо газете у себя на столе и говорит:

– Не знаешь: грызун из пяти букв, но не крыса?

Радиосканер булькает и издает слова, всхрюки и треск, повторяя: «Как понял?» – через каждую фразу. Повторяя: «Как понял?»

Элен Бойль кричит:

– Это разве кофе?!

Через час она едет встречаться с клиентом – показывать дом. Особняк в стиле эпохи королевы Анны, пять спален, отдельный вход в гостевое крыло, два газовых камина и лицо самоубийцы, обожравшегося барбитурата, которое появляется поздно ночью в зеркале в дамской комнате. Потом – одноэтажный «фермерский» дом с паровым отоплением, большим подвалом и периодически повторяющимся грохотом призрачных выстрелов – отголосков двойного убийства десятилетней давности. Все это записано у нее в ежедневнике – толстой тетради в переплете из материала, похожего на красную кожу. У нее там записано все.

Она отпивает еще глоток кофе и говорит:

– Как он называется? Швейцарский армейский мокко? Кофе должен быть по вкусу похож на кофе или я чего-то не понимаю?

Мона встает в дверях, сложив руки на животе, и говорит:

– Чего?

И Элен говорит:

– Я хочу, чтобы ты съездила и проверила... – она листает каталог у себя на столе, – ...ага, № 4673, Уиллмонт-плейс. Особняк в голландском колониальном стиле, солярий, четыре спальни, две ванные и убийство при отягчающих обстоятельствах.

Радиосканер трещит:

– Как понял?

– Все как обычно, – говорит Элен, пишет адрес на карточке и передает карточку Моне. – Ничего там не трогай в астральном смысле. Не надо жечь листья полыни и изгонять бесов.

Мона берет карточку с адресом и говорит:

– Просто проверить дом на наличие вибраций?

Элен рубит воздух ладонью и говорит:

– Я не хочу, чтобы духи срывались к какому-то яркому свету по тоннелям в тонкой материи. Я хочу, чтобы они оставались на этом астральном срезе, у меня на них свои планы. – Она опускает глаза на газету, разложенную на столе, и говорит: – У них впереди целая вечность, у мертвцев. С них не убудет еще лет пятьдесят побродить по дому и погреметь цепями.

Новый хозяин дома № 325 на Крествуд-террас все еще ждет на линии.

Элен Гувер Бойль смотрит на мигающий огонек на телефоне и говорит:

– Что-нибудь вчера обнаружилось в том испанском особняке на шесть спален?

Мона возводит глаза к потолку. Закусывает верхнюю губу и тяжело вздыхает. Потом косится на прядь волос у себя на лбу и говорит:

– Там определенно присутствуют токи тонкой энергии. Потусторонние силы есть, но они очень слабые. Но зато нижний план замечательный. – Черный шелковый шнур обвивается вокруг ее шеи и исчезает в уголке рта.

И наша героиня говорит:

– Нижний план идет лесом.

Ей не нужные замечательные дома, которые продаются раз в пятьдесят лет. «Дом, милый дом» идет лесом. Вместе со слабыми проявлениями тонкой энергии: холодными областями, непонятными испарениями, беспокойством домашних животных. Что ей нужно, так это кровь, растекающаяся по стенам. Ей нужны ледяные невидимые руки, которые по ночам стаскивают малышей с кроватей. Ей нужны горящие красным глаза у подножия лестницы в подвал. И подходящая атмосфера гнетущей таинственности.

Дом с верандой, № 521 на Элм-стрит: четыре спальни, оригинальные решетчатые ворота и волны на чердаке.

Особняк в нормандском стиле, № 7645 на Вестон-хайтс: арочные окна, буфетная комната, двери с витражными стеклами и призрак с многочисленными ножевыми ранениями в коридоре на втором этаже.

Дом в деревенском стиле, № 248 на Леви-плейс: пять спален, четыре ванные, один дополнительный туалет, кирпичный патио и периодически проявляющиеся кровоподтеки на стенах хозяйствской ванной, отолосок убийства водопроводчика посредством отравления.

Риэлторы называют такие дома несчастливыми. Эти дома либо вообще никогда не продаются, потому что никто не любит показывать их клиентам и никто из риэлторов не рискует заходить туда в одиночку, либо, наоборот, продаются и продаются – раз примерно в полгода, – потому что в них невозможно жить. Еще штук двадцать – тридцать таких домов с эксклюзивным правом на продажу, и Элен можно будет расслабиться. Отключить радиосканер. Закончить читать некрологи и полицейскую хронику на предмет убийств и самоубийств. Прекратить гонять Мону – проверять все вероятные варианты, которые могут дать ключ к разгадке. Ей можно будет расслабиться и подумать над породой лошадей из пяти букв.

– И еще я тебя попрошу, забери мои вещи из химчистки, – говорит она. – И сделай нормальный кофе. – Она наводит на Мону ручку и говорит:

– И я тебя очень прошу, сними ты эту свою растаманскую хренотень. Мы же все-таки серьезная фирма.

Мона тянет за черный шелковый шнур и достает изо рта кристалл кварца, блестящий и мокрый. Дует на него и говорит:

– Это кристалл. Мне его Устрица подарила, мой бойфренд.

И Элен говорит:

– Ты встречаешься с парнем по имени Устрица?

Мона роняет кристалл на грудь и говорит:

– Он говорит, это мне для защиты.

На ее оранжевой блузке остается темное влажное пятно.

– Да, и пока ты не ушла, – говорит Элен, – соедини меня по телефону с Биллом или Эмили Барроуз.

Она нажимает на кнопку ожидания на линии и говорит:

– Прошу прощения. – Она говорит, что есть несколько вариантов. Например, новый хозяин подписывает документ о формальном отказе от права собственности и спокойно съезжает, а с домом уже разбирается банк. – Или, – говорит наша героиня, – вы мне выписываете доверенность на эксклюзивное право продажи дома. Это у нас называется «карманний листинг».

Может быть, новый хозяин сейчас скажет: *нет*. Но когда он пойдет принять ванну и в воде у него между ног возникнет эта кошмарная рожа, когда по стенам забегают странные тени, он скажет: *да*. Еще не было случая, чтобы кто-то не согласился.

Новый хозяин на том конце линии говорит:

– И вы ничего не расскажете покупателям… о проблеме?

И Элен говорит:

– Вы не распаковывайте, что осталось. Мы скажем, что вы уже выезжаете. Если кто-нибудь спросит, скажите, что вам предложили работу в другом городе. Скажите, что вам очень нравится этот дом и вам жалко его продавать.

Она говорит:

– А все остальное останется нашей маленькой тайной.

Мона кричит из приемной:

– Билл Барроуз на второй линии.

Радиосканер трещит:

– Как понял?

Наша героиня нажимает на кнопку и говорит в трубку:

– Билл!

Глядя на Мону, она произносит одними губами:

– Кофе.

Она кивает на окно и так же беззвучно, одними губами, говорит Моне:

– Иди.

Радиосканер трещит:

– Как понял?

Это *была* Элен Гувер Бойль. Наша героиня. Теперь мертвая, но не покойная. Это был просто еще один день в ее жизни. Это была ее жизнь до того, как появился я. Может быть, это история о любви. Может быть, нет. Поживем – увидим. Потому что я сам не уверен, насколько мне можно себе доверять.

Это история об Элен Гувер Бойль. О том, как она не дает мне покоя. Как навязчивая мелодия, застрявшая в голове. О том, какой, мы себе представляем, должна быть жизнь. О том, что цепляет и не отпускает. О том, как прошлое тянется следом за нами в будущее.

Да, именно так. И все это – Элен Гувер Бойль.

У каждого в жизни есть кто-то, кто никогда тебя не отпустит, и кто-то, кого никогда не отпустишь ты.

В тот день – последний день в обыкновенной, нормальной жизни – наша героиня говорит в трубку:

– Билл Барроуз?

Она говорит:

– Пусть Эмили подойдет к параллельному телефону, у меня хорошая новость. Я нашла замечательный дом, вам понравится.

Она пишет РЫСАК по горизонтали и говорит:

– Насколько я понимаю, хозяин очень заинтересован, чтобы продать дом побыстрее.

Глава первая

Трудность любого рассказа: он всегда получается задним числом.

Даже «живой» комментарий на радио – круговые пробежки и страйк-ауты – все равно отстает от реальных событий на пару минут. Даже прямые трансляции по телевидению идут с задержкой на две-три секунды.

Даже у звука и света есть ограничения в скорости.

Еще одна трудность – рассказчик. Кто, что, где, когда и почему. Его личный настрой и пристрастия. Как он передает факты. Какой из него посредник, как это называется у журналистов. Как он умеет подать материал, поскольку правильно поданный материал – это все.

Рассказ в рассказе.

Эту историю я рассказываю кусками – каждый раз в новом кафе. Я пишу эту книгу по главам, главу за главой – каждый раз в новом месте, в новом городе, или в маленькой деревушке, или просто на съезде с шоссе где-нибудь в чистом поле.

Эти места объединяет одно – чудеса. Чудеса типа тех, о которых обычно пишут в бульварных изданиях, все эти чудесные исцеления и видения, о которых не упоминают в серьезной прессе.

На этой неделе мы имеем Святую Деву Уэлбурнскую, соответственно в Уэлбурне, штат Нью-Мексико. На прошлой неделе она спустилась с небес и пролетела над главной улицей этого самого Уэлбурна. Ее двухцветные, черные с рыжим, короткие дреды развевались по ветру, у нее были грязные ноги, а одета она была в длинную хлопчатобумажную юбку в индейском стиле, светлых и темных оттенков коричневого, и джинсовую мачку на бретельках. Читайте последний номер еженедельника «Чудеса со всего света»; у каждой кассы в любом супермаркете в Америке. Там все подробно описано.

И вот я здесь, с опозданием на неделю. Всегда отставая на шаг. Задним числом.

Ногти у Летучей Девы были ядовито-розовыми, с яркими белыми кончиками. Французский маникюр, как это называли некоторые очевидцы. При ней был аэрозольный баллончик от тараканов и прочих вредных насекомых, марки «Жуков нам не надо», и на ясном нью-мексиканском небе она написала:

ПЕРЕСТАНЬТЕ РОЖАТЬ ДЕТЕЙ

(sic)

Баллончик «Жуков нам не надо» она уронила. Сейчас он уже на пути в Ватикан. На предмет экспертизы. На месте события уже продают открытки. И даже видео.

Почти все, что уже есть в продаже, сделано задним числом. Поймано. Умерщвлено. И сварено.

На сувенирных видеокассетах Летучая Дева трясет в руках аэрозольный баллончик. Пролетая над Главной улицей, машет рукой толпе. Видно, что подмышки она не бреет. За пару секунд до того, как она начинает писать на небе, ветер задирает ей юбку, и все узнают, что Летучая Дева не носит трусиков. Между ног у нее гладко выбрито.

Я пишу этот кусок прямо здесь, в придорожной кафешке. Пишу, параллельно беседуя с очевидцами чуда в Уэлбурне, штат Нью-Мексико. Сержант тоже здесь, со мной. Стреляный воробей, ядреный ирландский коп. На столе между нами – местная газета, сложенная вверх страницей с объявлением шириной в три колонки:

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ МЕБЕЛЬНОГО МАГАЗИНА «МЯГКОЕ МЕСТО»

В объявлении сказано: «Если у вас в мягкой мебели завелись ядовитые пауки, у вас есть возможность объединиться с другими такими же пострадавшими и подать коллективный иск в суд». В объявлении дан телефон, по которому нужно звонить, но звонить бесполезно.

Кожа на шее Сержанта какая-то странная: если его ущипнуть, а потом убрать пальцы, то кожа так и останется защемленной. Ему нужно идти искать зеркало и специально разглаживать кожу в том месте, где его ущипнули.

На шоссе за окном кафешки полно машин – люди все еще едут в город. Они преклоняют колени и молятся о новом явлении Пречистой Девы. Сержант сложил вместе ладони в огромных перчатках и делает вид, что молится. При этом он искоса смотрит в окно, его кобура расстегнута, пистолет заряжен и готов к разминочной стрельбе по тарелочкам.

Закончив расписывать небо, Летучая Дева послала толпе воздушный

поцелуй. Изобразила пальцами знак мира. Проплыла в воздухе у самых верхушек деревьев, придерживая юбку одной рукой, тряхнула своими черно-рыжими дредами, помахала рукой на прощание и – аминь. Улетела за горы, за горизонт. Улетела совсем.

И все же: не стоит верить всему, что пишут в газетах.

Летучая Мадонна – это было не чудо.

Это было колдовство.

Это не чудеса святых. Это темные чары.

И мы с Сержантом здесь не для того, чтобы дивиться на чудо чудное. У нас с ним охота – на ведьм.

И все же: эта история не про здесь и сейчас. Я, Сержант и Летучая Дева. Элен Гувер Бойль. Это история о нас; как мы все встретились. И что нас сюда привело.

Глава вторая

Тебе задают только один вопрос. Перед тем как ты получаешь диплом журналиста, тебе предлагают такое задание: представь, что ты репортер. Работаешь в ежедневной газете в каком-нибудь большом городе, и вот, в канун Рождества, редактор тебе говорит, что нужно сделать заметку. Несчастный случай со смертельным исходом.

Ты приезжаешь на место. Полицейские и врачи уже там. Соседи в домашних халатах и тапках толпятся у двери в квартиру, в мрачном многоквартирном доме трущобного типа. В квартире, под новогодней елкой, рыдают молодые родители. Их малыш подавился елочной игрушкой, задохнулся и умер. Ты записываешь все детали, имя ребенка, возраст и все такое и мчишься обратно в редакцию – время близится к полуночи, – чтобы успеть написать экстренную заметку в утренний выпуск.

Ты приносишь заметку редактору, и он говорит, что статья не пойдет, потому что ты не указал, какого цвета была игрушка. Красная или зеленая? Посмотреть было нельзя, а спросить ты как-то не подумал.

Статья прямо просится на первую полосу, и у тебя есть выбор.

Позвонить родителям и спросить.

Или же не звонить и потерять работу.

Это пресса. «Четвертая власть». Когда я учился на журналиста, на выпускном экзамене по этике нам задавали только этот вопрос. Вопрос или – или. Я ответил, что позвоню в полицию. Такие вещи должны быть записаны в протоколе. Игрушку должны запечатать в полиэтиленовый пакет и сфотографировать как вещественное доказательство. Ни в коем случае я не стал бы звонить родителям после полуночи в канун Рождества.

По этике я получил D, низкий, но переходный балл.

Вместо этики я научился говорить людям только то, что им хочется услышать. Я научился письменно излагать факты. И еще я усвоил, что редакторы могут быть настоящими сволочами.

Я до сих пор не могу понять, для чего было это задание. Теперь я репортер, в ежедневной газете в большом городе, и мне не нужно ничего представлять.

Мой первый реальный ребенок был в сентябре, в понедельник утром. Не было никаких елочных украшений. Никто из соседей не толпился вокруг жилого трейлера в пригородной зоне. Один полицейский врач сидел с родителями на кухне и задавал им стандартные вопросы. Второй

полицейский врач отвел меня в детскую и показал кроватку и все, что обычно в кроватке бывает.

Стандартная процедура включает следующие вопросы: «Кто обнаружил ребенка мертвым?», «Когда его обнаружили мертвым?», «Перемещали ли тело после того, как его обнаружили мертвым?», «Когда ребенка в последний раз видели живым?», «Ребенок был на грудном или на искусственном вскармливании?» Вопросы кажутся беспорядочными, но врачам ничего другого не остается, как только копить данные для статистики и надеяться, что когда-нибудь они сложатся в систему.

Детская была выдержана в желто-синих тонах. Занавески в цветочек на окнах, белый плетеный комод с выдвижными ящиками – рядом с кроваткой. Белое кресло-качалка. Над кроваткой висела игрушка-мобил из желтых пластмассовых бабочек. На плетеном комоде лежала книжка, открытая на странице 27. Синий ковер на полу. Вышивка в рамочке на стене: «*Рожденный в четверг – далеко пойдет*». В комнате пахло детской присыпкой.

Может быть, я не усвоил этику, но зато я научился замечать детали. Несущественных деталей не бывает. Любая деталь достойна внимания.

Книжка, лежавшая на комоде, называлась «*Стихи и потешки со всего света*». Книга была библиотечная.

Мой редактор планировал серию из пяти репортажей СВСМ, синдром внезапной смерти младенцев. Каждый год семь тысяч детишек грудного возраста умирают без всякой видимой причины. Двое из каждой тысячи грудничков просто засыпают и больше не просыпаются. Мой редактор Дункан называет этот синдром «Смерть в колыбельке».

Подробности о Дункане: он весь в прыщах и угрях, и раз в две недели кожа у него на черепушке приобретает насыщенный коричневый цвет вдоль линии роста волос, когда он закрашивает седину на корнях. Пароль у него на компьютере – «пароль».

Все, что мы знаем про синдром внезапной смерти младенцев, – что в этом явлении нет никакой системы. Большинство малышей умирают у себя в кроватках между полуночью и ранним утром, но ребенок может умереть и когда спит в постели с родителями. Или в машине, или в коляске. Ребенок может умереть у матери на руках.

Во многих семьях есть дети, сказал мой редактор. Эта такая тема, о которой родители-бабушки-дедушки очень боятся читать и не читать тоже боятся. На самом деле ничего нового мы не напишем. Идея в том, чтобы дать краткий очерк пяти семей, потерявших ребенка. Показать, как людиправляются со своим горем. Как они продолжают жить дальше. Ничего

нового мы не напишем, что касается фактической стороны смерти в колыбельке; но мы можем вдавить по эмоциям. Показать, сколько участия и душевных сил открыли в себе эти люди. Под таким вот углом. Подобные репортажи, без привязки к каким-то громким событиям, мы называем «тихими новостями». Они пойдут центральной темой в раздел «Стиль жизни».

В качестве иллюстрации можно дать фотографии улыбающихся здоровых детишек, которые теперь мертвые.

Мы покажем, что это может случиться с каждым.

Вот такая была у него задумка. Обычно подобного рода исследования делаются «по заказу редакции». Был конец лета, с новостями было туговато. Это был тот период, на который приходится ежегодный пик рождаемости.

Идея редактора заключалась в том, чтобы я скооперировался с врачами, которые производят медицинскую экспертизу в случае беспрчинной смерти грудных детишек.

Рождественская история, рыдающие родители, елочная игрушка – я уже столько лет работаю репортером, что давно позабыл эту байду.

Гипотетическая ситуация на выпускном по этике. Этот вопрос задают в конце курса по журналистике именно потому, что тогда уже поздно его задавать. Ты уже заплатил за обучение. Только годы спустя я понял, что нас спрашивали о другом: *Ты уверен, что это действительно именно то, чем тебе хочется заниматься в жизни?*

Глава третья

Приглушенный гул диалога проходит даже сквозь стены, потом – взрыв смеха. Потом – опять диалог. Большинство треков со смехом на телевидении было записано в начале пятидесятых. То есть почти все люди, смех которых ты слышишь, сейчас мертвы.

Бум, бум и бум сверху. Как бой барабана. От музыки сотрясается потолок. Ритм изменяется. Удары становятся чаще, как будто сходятся вместе, удары становятся реже, как будто расходятся в стороны, но они не прекращаются.

Внизу кто-то поет. То есть даже не поет, а выкрикивает слова песни. Все эти люди, которым необходимо, чтобы у них постоянно орал телевизор. Или радио, или проигрыватель. Все эти люди, которых пугает тишина. Это мои соседи. Звуко-голики. Тишина-фобы.

Смех мертвых проходит сквозь стены.

Это то, что сейчас называется «дом, милый дом».

Звуковая осада.

После работы я заглянул в магазин. Когда я вошел, продавец встрепенулся. Не сводя с меня глаз, он пошарил рукой под прилавком с кассой и достал сверток из плотной коричневой бумаги.

– Я положил в два пакета. Думаю, вам понравится.

Он положил сверток на прилавок и любовно погладил его рукой.

Сверток размером в половину обувной коробки. Весит меньше, чем банка с консервированным тунцом.

Он нажимает одну, вторую, третью кнопку на кассе. В окошке высвечивается цена. Сто сорок девять долларов. Он говорит:

– Чтобы вы не волновались, я замотал оба пакета скотчем.

На случай, если вдруг будет дождь, он убирает сверток в пластиковый пакет и говорит:

– Если чего-то вдруг не хватает, вы мне скажите. – Он говорит: – А вы все так и хромаете. Не проходит нога?

Всю дорогу домой пакет шуршал у меня в руках. Бумага скользила и морщилась. Я шел прихрамывая, и с каждым шагом содержимое свертка перекатывалось в коробке.

У меня дома: потолок дрожит от громкой ритмичной музыки. Стены вибрируют от взвинченных голосов. То ли исполнилось древнеегипетское проклятие и какая-то мумия ожила и теперь убивает соседей, то ли они

смотрят фильм.

Внизу кто-то орет благим матом, лает собака, хлопают двери, опять же, грохочет музыка.

Я иду в ванную, но не включаю свет. Чтобы не видеть, что в свертке. Чтобы не знать, что это. В тесной густой темноте я затыкаю полотенцем щель под дверью. Держа сверток на коленях, я сижу на унитазе и слушаю.

Это то, что сейчас называется цивилизацией.

Люди, которые никогда не выбрасывают мусора из машины, врубают радио на полную мощность. Люди, которые в переполненном ресторане никогда не выдохнут сигаретный дым тебе в лицо, истошно орут в свои мобильные телефоны. Они кричат, как в лесу, разговаривая друг с другом через столик в кафе.

Люди, которые никогда не разбрызгают гербициды и инсектициды, почему-то считают вполне допустимым поганить окрестности громкой музыкой. Шотландские волынки. Китайская опера. Кантри и фолк.

Когда за окном поют птицы, это нормально. Когда Патси Клайн – уже нет.

Шум машин за окном – это уже неприятно. И от концерта в ре-миноре для фортепьяно Шопена легче не станет.

Ты делаешь музыку громче, чтобы заглушить шум. Соседи делают музыку громче, чтобы заглушить твою музыку. Ты опять делаешь музыку громче. Все покупают стереосистемы, стараясь выбрать, которая помощнее. Это гонка вооружения в войне звука. Но устроенная мощность не приносит тебе победы.

Речь не о качестве звука. Речь о громкости.

Речь не о музыке. Речь о победе.

Ты включаешься в состязание, врубая басы. От твоей музыки дрожат стекла. Тебя не волнует мелодия, ты выкрикиваешь слова. Ты используешь ненормативную лексику и повышаешь голос на каждом матерном слове.

Ты берешь верх. На самом деле речь о том, кто сильнее.

В темной ванной, сидя на унитазе, я отдираю ногтями скотч с одного конца свертка. Внутри – картонная коробка, квадратная, гладкая, мягкая, с истертыми краями. Уголки тоже стерты и продавлены внутрь. Я поднимаю крышку, и то, что внутри, оказывается на ощупь набором острых и твердых деталей замысловатой формы. Крошечные уголки, изгибы и зазубренные края. Я выкладываю содержимое на пол, в темноте. Пустую коробку я убираю обратно в бумажные пакеты. Между слоями твердых деталей – листы тонкой мягкой бумаги. Я убираю в пакеты и эту бумагу тоже. Потом сминаю пакеты вместе с картонной коробкой в плотный шуршащий шар.

Все это я делаю в темноте. Вслепую. Прикасаюсь к гладкой бумаге, перебираю слои твердых деталей с разными вогнутостями и выпуклостями.

Пол у меня под ногами и даже сиденье унитаза слегка подрагивают от соседской музыки.

Хочется посоветовать всем родителям, кто потерял маленького ребенка: придумайте себе хобби. Удивительно, как быстро ты учишься отгораживаться от прошлого, когда тебе есть чем занять руки и голову. Пережить можно все – даже самую страшную боль. Только тебе нужно что-то, что будет тебя отвлекать. Попробуйте вышивать. Или мастерить абажуры из цветного стекла.

Я сгребаю детали и отношу их в кухню. При свете они голубые, синие, серые и белые. Хрупкая твердая пластмасса. Крошечные кусочки. Кровельная дранка, ставни на окна, панели для стен. Крошечные ступеньки, колонны и оконные рамы. Пока не понятно, что это: жилой дом или больница. Крошечные кирпичные стены и двери. Разложенные на кухонном столе, это могут быть детали для школы или для церкви. Без коробки с картинкой, без инструкции по сборке эти крошечные водосточные трубы и мансардные окна могут быть материалом для железнодорожной станции или для психбольницы. Для фабрики или для тюрьмы.

Не важно, как их собрать – ты все равно не узнаешь, правильно или нет.

Крошечные детали, трубы и купола, они легонько подрагивают при каждом ударе звука, что идет от соседей снизу.

Эти музыко-голики. Эти тишина-фобы.

Никто не хочет признать, что мы подсели на музыку, как на наркотик. Так не бывает. Никто не подсаживается на музыку, на телевизор и радио. Просто нам нужно больше: больше каналов, шире экран, громче звук. Мы не можем без музыки и телевизора, но нет – никто на них не подсел.

Мы можем выключить музыку и телевизор, когда захотим.

Я вставляю оконную раму в кирпичную стену. Малюсенькой кисточкой, как от лака для ногтей, я приклеиваю ее на место. Окно размером с ноготок. Клей пахнет, как лак для волос. Запах похож на смесь апельсина с бензином.

Узор из кирпичиков на стене – мелкий, как отпечатки пальцев.

Второе окошко встает на место, и я окунаю кисточку в клей.

Звук сотрясает стены, проходит вибрацией по столу, по оконной раме – мне в палец.

Они отвлекают внимание. Они боятся сосредоточиться.

Джордж Оруэлл ошибался.

Большой Брат не следит за тобой. Большой Брат поет и пляшет. Достает белых кроликов из волшебной шляпы. Все время, пока ты не спишь, Большой Брат развлекает тебя, отвлекая внимание. Он делает все, чтобы не дать тебе времени задуматься. Он делает все, чтобы тебя занять.

Он делает все, чтобы твое воображение чахло и отмирало. Пока окончательно не отомрет. Превратиться в бесполезный придаток типа аппендиакса. Большой Брат следит, чтобы ты не отвлекался на что-то серьезное.

Но лучше бы он следил за тобой, потому что это значительно хуже – когда в тебя столько всего пихают. Когда столько всего происходит вокруг, тебе уже и не хочется думать самостоятельно. Ты уже не представляешь угрозы. Когда воображение атрофируется у всех, никому не захочется переделывать мир.

Я расстегиваю пуговицу на рубашке и запихиваю галстук внутрь, чтобы он не мешался. Крепко прижав подбородок к груди, я подцепляю пинцетом крошечные оконные стекла и вставляю их в рамы. Опасной бритвой я обрезаю пластмассовые занавески до размеров меньше почтовой марки. Синие занавески – на второй этаж, желтые занавески – на первый. Кое-где занавески раздвинуты, кое-где плотно задернуты. Я приклеиваю их на место.

В мире есть вещи страшнее, чем пережить смерть жены и ребенка.

Например, наблюдать, как тот же мир отбирает их у тебя. Наблюдать, как стареет жена. Как ей становится скучно жить. Как твои дети потихонечку узнают все, от чего ты пытался их оградить. Наркотики, развод, общепринятые нормы, болезни. Все эти хорошие добрые книжки, музыка, телевизор. Непрестанные развлечения, отвлекающие внимание.

Хочется посоветовать всем родителям, кто потерял маленького ребенка: живите дальше. И вините себя.

Убить тех, кого любишь, это не самое страшное. Есть вещи страшнее. Например, безучастно стоять в сторонке, пока их убивает мир. Просто читать газету. Так чаще всего и бывает.

Смех и музыка разъедают мысли. Шум их заглушает. Всякий звук отвлекает внимание. Не дает сосредоточиться. От клея болит голова.

Все наши мысли – уже чужие. Потому что сосредоточиться невозможно. Просто сесть и спокойно подумать – не получается. Какой-нибудь шум обязательно просочится. Певцы надрываются. Мертвецы смеются. Актеры рыдают в голос. Все эти эмоции малыми дозами.

Кто-нибудь обязательно распыляет в воздухе свое настроение.

Магнитолы в машинах расплескивают по округе чье-то горе, чью-то злость или радость.

Особняк в голландском колониальном стиле. Я приkleил пятьдесят шесть окон вверх ногами, и мне пришлось его выкинуть. Замок в стиле Тюдоров на двенадцать спален. Я прикрепил водосточные трубы не там, где нужно, и расплавил пластмассовые фронтоны, пытаясь растворить клей химическим растворителем.

Все это не ново.

В Древней Греции люди считали, что мысли – это приказы свыше. Если в голову древнего грека приходила какая-то мысль, он был уверен, что ее ниспослали боги. Какой-то конкретный бог или богиня. Аполлон говорил человеку, что нужно быть храбрым. Афина – что нужно влюбиться.

Теперь люди слышат рекламу картофельных чипсов со сметаной и бросаются их покупать; но это теперь называется свободой выбора.

Древние греки по крайней мере не лгали себе.

А правда – она простая. Даже если однажды вечером ты читаешь жене и ребенку вслух. Читаешь им колыбельную. А наутро ты просыпаешься, а твоя семья – нет. Ты лежишь в постели, прижаввшись к жене. Она еще теплая, но уже не дышит. Твоя дочка не плачет. Дом уже лихорадит от шума движения за окном, от воплей соседского радио, от горячего пара, заключенного в трубах внутри стены. Правда в том, что можно забыть даже этот день – забыть на те пару минут, пока ты завязываешь перед зеркалом галстук.

Я это знаю. Это моя жизнь.

Можно переехать, сменить квартиру, но этого мало. Надо, чтобы у тебя было какое-то хобби. Чтоб занять руки и голову. Нужно по уши уйти в работу. Сменить имя. Собрать все воедино – пусть даже топорно и кое-как. Створить порядок из хаоса. Каждый раз заново – когда у тебя не болит нога и когда есть деньги. Нужно организовать свою жизнь. До мельчайших деталей.

Это не то, что советуют психотерапевты. Но оно помогает.

Потом ты приклеиваешь к стенам двери. А стены приклеиваешь к фундаменту. Ты собираешь пинцетом крошечные кусочки каждой печной трубы, и пока клей подсыхает, ты делаешь крышу. Навешиваешь водосточные трубы. Все детали аккуратно подогнаны. Ты вставляешь мансардные окна. Крепишь ставни. Оформляешь крыльцо. Засеваешь лужайку. Сажаешь деревья.

Вдыхаешь запах апельсинов с бензином. Запах лака для волос. Ты полностью сосредоточен на том, что делаешь. Ты обклеиваешь трубу

крошечными побегами плюща. Клей тонкой корочкой засыхает на кончиках пальцев. Пальцы липнут друг к другу.

Ты говоришь себе: шум – это то, чем определяется тишина. Без шума мы не ценили бы тишину. Шум – исключение из правил. Думай о безграничном открытом космосе, о пронзительном холоде и тишине, где тебя ждут жена и ребенок. Мне не нужны небеса. Тишина – вот желанная награда.

Берешь пинцет и сажаешь цветы вдоль фундамента.

Вытянув шею, ты наклоняешься над столом. Задница напряжена, позвоночник согнулся дугой. Верхний конец дуги упирается в боль в основании черепа.

Клеишь крошечный коврик на крыльце у передней двери. «Добро пожаловать». Над дверью подвешиваешь фонарик. Рядом с дверью – почтовый ящик. На крыльце расставляешь совсем уже крошечные бутылочки с молоком. Рядом кладешь сложенную газету.

Когда все готово – все идеально, правильно и аккуратно, – уже глубокая ночь. Наверное, три часа ночи, если вообще не четыре утра – потому что вокруг все тихо. Пол, стены и потолок уже не дрожат. Даже мотор в холодильнике не гудит, и поэтому слышно, как жужжат нити накаливания в электрических лампочках. Слышно, как тикают часики на руке. Мотылек бьется в окно с той стороны. Ты видишь пар от своего дыхания – так холодно в кухне.

Ты подключаешь маленькую батарейку и тянешь за рычажок – свет зажигается в крошечных окнах. Ты ставишь домик на пол и выключаешь верхний свет.

Стоишь над домиком в темноте. Отсюда, с такой высоты, он смотрится безукоризненно. Замечательный дом. Надежный и безопасный. Счастливый. Аккуратный кирпичный домик. Свет из крошечных окон озаряет цветы на лужайке. Светятся занавески. Желтые занавески – в детской. Синие – в нашей спальне.

Хороший способ забыть о целом – пристально рассмотреть детали.

Хороший способ отгородиться от боли – сосредоточиться на мелочах.

Вот так и надо смотреть на Бога.

Как будто все хорошо.

Теперь надо снять туфлю и наступить на все это босой ногой. Потом еще раз, и еще, и еще. Не важно, что это больно: ломкая пластмасса с острыми сколами, дерево и стекло. Давить и давить, со всей силы, пока сосед снизу не начинает стучать кулаком в потолок.

Глава четвертая

Мой второй случай смерти в колыбельке – в большом блочном многоквартирном доме на окраине центра. Несчастье случилось под вечер, ребенок умер прямо на детском высоком стульчике в кухне. Когда я приехал, нянька рыдала в спальне. В раковине на кухне была гора грязной посуды.

Когда я возвращаюсь в редакцию, Дункан спрашивает:

– Раковина одинарная или двойная?

Еще одна подробность о Дункане: он плюется, когда разговаривает.

Двойная, говорю я ему. Нержавеющая сталь. Отдельные краны на горячую и холодную воду, ручки кранов фаянсовые. Насадки-рассекателя нет.

И Дункан говорит:

– Марка холодильника?

Крошечные капельки его слюны мерцают в резком электрическом свете.

Я говорю: «Амана».

– Есть у них календарь?

Слюна Дункана брызжет мне на руку и на щеку. Работает кондиционер, и слюна кажется очень холодной.

Есть, говорю я ему. С изображением старой каменной мельницы – такой, которая с водяным колесом. Подарок от страхового агента. В календаре был отмечен день, когда вести малыша в поликлинику. И день защиты диплома по общеобразовательной подготовке у мамы. У меня записаны обе даты и фамилия детского врача.

И Дункан говорит:

– Черт, отлично работаешь.

Его слюна высыхает у меня на коже и на губах.

На полу в кухне был серый линолеум. Розовый кухонный гарнитур, прожженный в некоторых местах сигаретой. На столике рядом с раковиной лежала библиотечная книжка. «*Стихи и потешки со всего света*».

Книга была закрыта, но когда я ее приоткрыл и дал ей свободно упасть на стол вверх обложкой – в надежде, что книга сама раскроется на странице, до которой ее дочитали, – она раскрылась на странице 27. Я взял карандаш и поставил галочку на полях.

Мой редактор хитро прищуривает один глаз.

– А остатки какой еды, – говорит, – были на грязной посуде в раковине?

Спагетти, говорю я. С томатным соусом. Соус с грибами и чесноком. Я проверил мусорную корзину под раковиной.

Двести миллиграммов соли на порцию. Сто пятьдесят килокалорий. Я сам не знаю, чего ожидал найти. Может быть, что-то, что помогло бы понять причину.

Дункан говорит:

– Видел? – и показывает мне гранки сегодняшнего ресторанныго раздела. Объявление бросается в глаза сразу. Шириной в три колонки и высотой в шесть дюймов. Заголовок большими буквами:

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ КЛУБНОГО РЕСТОРАНА

«ТЕМНЫЙ БОР»

В самом объявлении сказано: «Отобедав в указанном ресторане, вы заразились синдромом хронической усталости, не поддающимся никакому лечению? Этот вирус, передающийся через пищу, лишил вас возможности продуктивно работать и жить нормальной жизнью? Если так, то звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд».

Указанный телефон начинается с какого-то непонятного длинного кода. Наверное, это мобильный номер.

Дункан говорит:

– Как ты считаешь, из этого можно состряпать статью? – И на листе остаются влажные точки его слюны.

У меня бибикает пейджер. Это полицейские врачи.

На факультете журналистики нас учили, что репортер должен быть как объектив фотокамеры. Вышколенный, объективный и беспристрастный профессионал. Точный, надежный и наблюдательный.

Нас учили, что то, что ты пишешь, – это всегда отдельно от тебя. Убийцы и репортеры взаимно исключают друг друга. О чем бы ты ни писал, ты пишешь не о себе.

Мой третий мертвый ребенок – на ферме в двух часах езды от города.

Четвертый – в кооперативном доме рядом с торговым центром.

Полицейский врач ведет меня в детскую и говорит:

– Наверное, вас зря сюда вызвали. – Его зовут Джон Нэш, и он убирает простыню, которой укрыто тело ребенка. Маленький мальчик – слишком спокойный, слишком белый и совершенный для того, чтобы просто спать. Нэш говорит: – Ему почти шесть.

Подробности о Нэше: это здоровый такой мужик в белом халате. Он носит высокие белые ботинки на толстой подошве, а волосы убирает в хвост, который торчит на макушке, как чахлая пальмочка.

– Нам бы в Голливуде работать, – говорит Нэш. – В такой чистой бескровной смерти нет ни уродства, ни боли, и обратной перистальтики тоже нет – когда в предсмертной агонии пищеварительная система начинает работать наоборот и тебя рвет фекалиями. Когда ты блоешь дерьмом, – поясняет Нэш. – Очень реалистичная сцена смерти.

Он мне рассказывает про смерть в колыбельке. Чаще всего это случается в возрасте от двух от четырех месяцев. Более девяноста процентов всех смертей происходят до полугода. После десяти месяцев – это уже редкое исключение. После года в свидетельстве о смерти ребенка пишут: причина не установлена. Вторая такая же смерть в семье считается убийством, пока не будет доказано обратное.

В квартире в кооперативном доме обои на стенах зеленые. В детской кроватке фланелевое белье с рисунком из скотчтерьерчиков. В квартире пахнет аквариумом с ящерицами.

Когда ребенку к лицу прижимают подушку, судебные медики называют такое убийство «мягким».

Мой пятый мертвый ребенок – в отеле у аэропорта.

Книга была и на ферме, и в кооперативном доме. «Стихи и потешки...» Та же самая библиотечная книга с моей галочкой на полях. В отеле я ее что-то не нахожу. Это номер с двуспальной кроватью. Ребенок лежит, скорчившись на односпальной кровати рядом с кроватью, где спали родители. На полке во встроенном шкафу – цветной телевизор, 36-дюймовый «Зенит» с пятьюдесятью шестью кабельными каналами. Плюс четыре канала местного телевидения. Ковер на полу коричневый, занавески – коричневые с голубыми цветами. На полу в ванной – влажное полотенце, испачканное кровью и зеленым гелем для бритья. Кто-то не спустил унитаз.

Покрывала на кроватях темно-синие и прокурены сигаретным дымом.

Книги не видно.

Я спрашиваю офицера, что родители забирали из номера, и он говорит: вроде бы ничего. Но приходил человек из собеса и забрал кое-какую одежду.

– Да, и еще, – говорит офицер, – какие-то библиотечные книжки.

Глава пятая

Передняя дверь открывается, и на пороге стоит женщина. Она держит у уха мобильник. Улыбается мне, но говорит с кем-то другим.

– Мона, – говорит она в трубку, – ты давай там побыстрее. Мистер Стрейтор уже пришел.

Она поднимает свободную руку, демонстрируя мне часы у себя на запястье, и говорит в трубку:

– Он минут на пять раньше. – Ее другая рука с длинными ярко-розовыми ногтями с ослепительно белыми кончиками и маленький черный мобильник у уха почти не видны в искрящемся розовом облаке пышных волос.

Улыбаясь, она говорит:

– Расслабься, Мона, – и комментирует, глядя на меня: – Коричневый спортивный пиджак. Коричневые брюки. Белая рубашка. – Она хмурится и кривит губы. – И синий галстук.

Она говорит в трубку:

– Средних лет. Рост пять футов и десять дюймов, вес... фунтов сто семьдесят. Белый. Шатен, зеленые. – Она слегка морщится в мою сторону. – Прическа малость в беспорядке, и он сегодня не брился, но в целом вид у него безобидный.

Она слегка подается вперед и произносит одними губами: *моя секретарша*.

В трубку она говорит:

– Чего?

Она отступает в сторону и машет мне свободной рукой, чтобы я заходил. Она поднимает голову, ловит мой взгляд и говорит:

– Спасибо, Мона, за заботу, но я не думаю, что мистер Стрейтор будет меня насиловать.

Мы в особняке Гартоллера на Уолкер-Ридж-драйв. Дом в старинном английском стиле. Восемь спален, семь ванных, четыре камина, большая столовая для приемов, малая столовая, бальный зал площадью в полторы тысячи квадратных футов на четвертом этаже. Отдельный гараж на шесть автомобилей и гостевой домик в саду. Открытый бассейн. Пожарная сигнализация и охранная система.

Уолкер-Ридж-драйв расположен в районе, где мусор вывозят пять раз в неделю. Здесь живут люди, которые понимают опасность хорошей

судебной тяжбы, и когда ты приходишь и называешь себя, они улыбаются и соглашаются.

Особняк Гартоллера очень красивый.

Эти люди не пригласят тебя в дом. Они будут стоять в дверях и улыбаться. А если ты спросишь, они тебе скажут, что не знают истории этого дома. Это просто дом.

Если ты будешь настаивать, они поглядят на пустынную улицу поверх твоего плеча, опять улыбнутся и скажут: «Ничем не могу вам помочь. Позвоните риэлтору».

На доме № 3465 по Уолкер-Ридж-роуд висит скромная табличка: «Бойль. Продажа недвижимости». Прием только по предварительной записи.

Еще в одном доме мне открывает женщина в форменном платье горничной. Девочка лет шести робко выглядывает из-за ее черной юбки. Горничная качает головой и говорит, что вообще ничего не знает.

– Позвоните риэлтору, – сказала она. – Элен Бойль. Там есть телефон.

А девочка сказала:

– Она злая колдуны.

И горничная закрыла дверь.

И вот теперь, в особняке Гартоллера, Элен Гувер Бойль проходит по гулким пустым белым комнатам. Она все еще говорит по мобильному. Облако пышных розовых волос, розовый костюм в обтяжку, белые чулки, розовые туфли на среднем каблуке. Густая ярко-розовая помада. Искрящиеся золотые и розовые браслеты позякивают на руках: золотые цепочки, монетки и амулеты.

Хватит, чтобы украсить немаленькую новогоднюю елку.

Крупный жемчуг. Таким подавился бы даже конь.

В трубку она говорит:

– Ты не звонила новым хозяевам Эксетер-Хауз? Они должны были в ужасе съехать оттуда еще две недели назад.

Сквозь высокие двойные двери она проходит в другую комнату и в другую за ней.

– То есть, – говорит она в трубку, – что ты имеешь в виду: они там не живут?

Высокие арочные окна выходят на каменную террасу. За террасой – постриженная полосами лужайка. За лужайкой – бассейн.

В трубку она говорит:

– Так не бывает, чтобы люди купили дом за миллион двести и там не живут. – В этих комнатах без мебели и ковров ее голос кажется громким и

резким.

Маленькая белая с розовым сумочкой на длинной золотой цепочке – через плечо.

Пять футов шесть дюймов – рост. Сто восемнадцать фунтов – вес. Сложно сказать, сколько ей может быть лет. Она такая худая, что она либо при смерти, либо очень богата. Ее костюм пошит из какой-то узловатой отделочной ткани и украшен белой плетеной тесьмой. Он розовый, но не креветочно-розовый, а розовый, как креветочный паштет, сервированный на хрустящих хлебцах с веточкой петрушек и капелькой черной икры. Короткий пиджак облегает хрупкую талию, а широкие набивные плечи кажутся почти квадратными. Юбка короткая и обтягивающая. Огромные золотые пуговицы.

Она носит кукольную одежду.

– Нет, – говорит она в трубку. – Мистер Стрейтор тут, рядом. – Она поднимает тонкие брови, подведенны карандашом, и смотрит на меня. – Я трачу зря время? – говорит она в трубку. – Надеюсь, что нет.

Улыбаясь, она говорит в трубку:

– Хорошо. Вот он мне показывает, что нет.

Мне интересно, почему она сказала, что я *средних лет*.

Сказать по правде, говорю я ей, я не собираюсь покупать недвижимость.

Она показывает на меня двумя пальцами с яркими розовыми ногтями и произносит одним губами: *еще минуточку*.

На самом деле, говорю я, я нашел ее имя в протоколах, в конторе у окружного коронера. На самом деле я просмотрел все судебно-медицинские протоколы за последние двадцать пять лет на предмет смертей в колыбельке.

Слушая, что говорят ей по телефону, не глядя на меня вообще, она кладет свободную руку на отворот моего пиджака и легонько отталкивает меня, но при этом не убирает руки. В трубку она говорит:

– Ну и в чем проблема? Почему они там не живут?

Я смотрю на ее руку вблизи. Судя по этой руке, ей хорошо за тридцать. Может быть, даже чуть-чуть за сорок. И все-таки эта таксiderмическая холеность, которая сходит за красоту после определенного возраста и при определенных доходах, для нее несколько старовата. Ее кожа уже смотрится тщательно отшелушенной, протонизированной, увлажненной и вообще какой-то искусственной. Как будто заново отполировали старую потускневшую мебель. Свежая полировка. Новая розовая обивка. Отреставрировано. Обновлено.

Она кричит в трубку мобильника:

– Ты что, так шутишь?! Да, я знаю, что значит под снос! Но это же историческая постройка!

Она поднимает плечи, прижимая их плотно к шее, и медленно опускает. Потом на миг отнимает телефон от уха, закрывает глаза и вздыхает.

Она слушает, что ей говорят, и ее ноги в розовых туфлях и белых чулках отражаются в перевернутом виде в темном зеркале отполированного паркета. В глубине отражения видна тень у нее под юбкой.

Она прижимает свободную руку ко лбу и говорит:

– Мона. – Она говорит: – Мы не можем позволить себе потерять этот дом. Если они его перестроют, его можно списывать вообще.

Потом она опять замолкает и слушает.

А мне интересно, почему нельзя носить синий галстук с коричневым пиджаком?

Я опускаю глаза и ловлю ее взгляд. Я говорю: миссис Бойль? Мне нужно было с ней встретиться в частном порядке, не у нее в конторе. Это касается серии моих статей.

Но она машет рукой. Сейчас она занята. Она подходит к камину, проводит свободной рукой по каминной полке и шепчет:

– Когда они будут его сносить, соседи будут стоять на улице и рыдать от счастья.

Из этой комнаты есть проход в еще одну белую комнату с темным паркетом и белым потолком с замысловатой лепниной. С другой стороны – тоже дверь. За ней – комната с пустыми белыми книжными полками во всю стену.

– Может быть, мы устроим какой-нибудь марш протesta, – говорит она в трубку. – Разошлем письма в газеты.

И я говорю, что я из газеты.

Запах ее духов – смесь запаха кожи в салоне автомобиля, увядших роз и кедровой древесины.

И Элен Гувер Бойль говорит:

– Мона, минуточку подожди.

Она подходит ко мне и говорит:

– Что вы сказали, мистер Стрейтор? – Она быстро моргает ресницами. Раз, второй. Она ждет. У нее голубые глаза.

Я репортер из газеты.

– Эксетер-Хауз – очень красивый дом. Исторический дом, который хотят снести, – говорит она, прикрывая рукой телефон. – Семь спален,

шесть тысяч квадратных футов. Весь первый этаж отделан панелями из вишневого дерева.

В пустой комнате так тихо, что слышен голос в телефоне:

– Элен?

Она закрывает глаза и говорит:

– Его построили в 1935-м. – Она запрокидывает голову. – Автономное паровое отопление, участок 2,8 акра, черепичная крыша...

Голос в телефоне:

– Элен?

– ...игровая комната, – говорит она, – буфетная с баром, домашний тренажерный зал...

Проблема в том, что у меня не так много времени. Все, что мне нужно знать, говорю, это – были ли у вас дети?

– ...кладовая при кухне, – говорит она, – малая холодильная камера...

Я говорю: был у вас маленький сын, который умер по непонятной причине лет двадцать назад?

Она быстро моргает ресницами. Раз, второй. Она говорит:

– Прошу прощения?

Мне нужно знать, читала она своему сыну вслух или нет. Его звали Патрик. Мне нужно найти и собрать все существующие экземпляры определенной книги.

Прижимая телефон к уху подбитым плечом пиджака, Элен Бойль открывает свою белую с розовым сумочку и достает пару белых перчаток. Надевая перчатки, она говорит в трубку:

– Мона?

Мне нужно знать, может быть, у нее до сих пор сохранилась та книжка. Мне очень жаль, но я не могу ей сказать зачем.

Она говорит:

– Боюсь, мистер Стрейтор не сможет быть нам полезным.

Мне нужно знать, делали ее сыну вскрытие или нет.

Она улыбается мне. И произносит одними губами: *уходите*.

Я поднимаю руки, ладонями к ней, и пячуясь к двери.

Просто мне нужно быть твердо уверенным, что все экземпляры той книги будут уничтожены.

И она говорит:

– Мона, пожалуйста, позвони в полицию.

Глава шестая

Когда случается смерть в колыбельке, нужно как-то донести до сознания родителей, что они ни в чем не виноваты. Дети не задыхаются в одеяльце. В 1945 году в журнале «Педиатр» была статья под названием «Механическое удушение в младенчестве», и автор доказывал, что это физически невозможно – чтобы грудной младенец задохнулся в постели. Даже новорожденные, если их положить лицом вниз на подушку или матрас, все равно рефлекторно перевернутся так, чтобы можно было свободно дышать. Даже если ребенок немного простужен или гриппует, нет никаких доказательств, что болезнь как-то связана с внезапной смертью. Нет никаких доказательств, что прививки от дифтерита, коклюша или столбняка как-то связаны с СВСМ. Даже если ребенок только что был у врача, он все равно может умереть.

Кошки не садятся детям на грудь и не высасывают их жизнь.

Все, что мы знаем, – что мы ничего не знаем.

Нэш, полицейский врач, показывает мне лиловые синяки на телах всех детей, *livor mortis*, где окисленный гемоглобин оседает в самых нижних частях тела. Кровавая пена, что идет изо рта и из носа – медики называют ее «очищающими водами», – это естественный компонент разложения. Те, кто отчаянно ищет ответ, смотрят на *livor mortis*, на очищающие воды и даже на сыпь от пеленочного дерматита и обвиняют родителей в жестоком обращении с ребенком.

Хороший способ забыть о целом – пристально рассмотреть детали.

Хороший способ отгородиться от боли – сосредоточиться на мелочах. На фактах. Что меня больше всего привлекает в профессии репортера – возможность спрятаться за своим блокнотом. Превратить любую беду в работу.

Книгу вернули в библиотеку. Она стоит в секции детской литературы и ждет. «*Стихи и потешки со всего света*». На странице 27 напечатано стихотворение. Африканский народный фольклор, как сказано в книжке. Всего восемь строчек, и мне не надо его переписывать. Я уже переписал его. Когда выезжал к своему первому мертвому мальчику. В жилом трейлере в пригороде. Я вырываю страницу и ставлю книгу обратно на полку.

Когда я возвращаюсь в редакцию, Дункан спрашивает:

– Как там твои сенсационные материалы о мертвых детях? – Он говорит: – Я хочу, чтобы ты позвонил по этому телефону и попробовал

выяснить, что к чему. – Он протягивает мне гранки сегодняшнего раздела «Стиль жизни».

Объявление обведено красным карандашом.

Объявление шириной в три колонки и высотой в шесть дюймов.

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ ФИТНЕС-КЛУБА

«ЗЕЛЕНЫЕ ХОЛМЫ»

В объявлении сказано: «Вы заразились грибковой инфекцией при контакте с фитнес-тренажерами или при посещении душа? Если так, то звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд».

Я набираю указанный номер, и мне отвечает мужской голос:

– «Умник, Ушлый и Умора», юридические услуги.

Мужчина на том конце линии говорит:

– Назовите, пожалуйста, свое имя и адрес для учетной регистрации. – Он говорит: – Можете описать вашу сыпь? Размер очагов. Расположение. Цвет. Глубина повреждения тканей. Все до мельчайших подробностей.

Вы ошибаетесь, говорю я ему. У меня нету сыпи. Я звоню вовсе не для того, чтобы подать коллективный иск в суд.

Совершенно без всякой связи мне вспоминается Элен Гувер Бойль.

Когда я говорю, что я репортер из газеты, мужчина на том конце линии говорит:

– Прошу прощения, но нам нельзя обсуждать это дело, пока иск не будет оформлен и передан в суд.

Я звоню в фитнес-клуб, но там тоже не расположены разговаривать. Я звоню в ресторан «Темный бор» из предыдущего объявления, но и там не хотят разговаривать. Номер телефона и в этом, и в том объявлении – тот же самый. Начинается с длинного мобильного кода. Я опять набираю его, и мужской голос на том конце линии говорит:

– «Умник, Ушлый и Умора», юридические услуги.

И я вешаю трубку.

На факультете журналистики нас учили, что начинать нужно с самого главного факта. Это называется опрокинутая пирамида. Кто, что, где, когда и почему должны быть в начале статьи. Дальше идут менее значимые факты, которые следует располагать в порядке убывания значимости.

Таким образом, редактор сможет легко сократить статью до нужного размера, не упустив ничего важного.

Все незначительные детали, запах покрывал на кровати, остатки еды на тарелках, цвет елочной игрушки – обычно все это остается в корзине для мусора у редакторского стола.

Единственная система, которую можно проследить в смертях в колыбельке, – их количество возрастает осенью, когда наступают заморозки. Редактор хочет, чтобы это наблюдение появилось уже в первой статье. Нужно что-то такое, что пробудило бы в людях страх. Пять малышей, пять статей. Раз в неделю, в воскресном номере. Так, чтобы люди читали всю серию. Пять воскресений подряд. Мы можем пообещать, что рассмотрим причины синдрома внезапной смерти младенцев и попробуем проследить систему. Мы можем поддерживать в людях надежду.

Есть люди, которые все еще верят, что знание – сила.

Тем, кто дает у нас объявления в воскресном номере, мы гарантируем, что объявления будут замечены читательской массой. На улице уже холода.

Я прошу своего редактора сделать мне одно маленькое одолжение.

Мне кажется, я нашел систему. Похоже, что всем этим детям родители на ночь читали вслух одно стихотворение. А наутро детей нашли мертвыми.

– Всем пятерым читали? – говорит он.

Я говорю, что хочу провести один маленький эксперимент.

Время уже позднее, и мы оба устали после долгого трудового дня. Мы сидим у него в кабинете, и я прошу его меня выслушать.

Это старая песенка про зверей, которые ложатся спать. Песенка грустная и сентиментальная, и лицо у меня горит от окисленного гемоглобина, когда я читаю стихотворение вслух под яркой лампой дневного света, сидя напротив редактора – его галстук распущен, воротничок расстегнут. Он сидит с закрытыми глазами, откинувшись на спинку стула. Его рот слегка приоткрыт, его зубы и чашка с кофе – в одинаковых коричневых кофейных разводах.

Что хорошо: мы одни, и мой рассказ занимает не больше минуты.

В конце он открывает глаза и говорит:

– Ну и какого хрена все это значит?

Дункан. У него зеленые глаза.

Холодные капли его слюны приземляются мне на руку. Крошечные переносчики микробов. Влажные дробинки – переносчики вирусов. Коричневая кофейная слюна.

Я говорю: я не знаю. В книжке ее называют «баюльной песней». В некоторые древних культурах ее пели детям во время голода или засухи. Или когда племя так разрасталось, что уже не могло прокормиться на своей земле. Ее пели воинам, изувеченным в битве, и смертельно больным – всем, кому лучше было умереть. Чтобы унять их боль и избавить от мук. Это колыбельная.

На факультете журналистики нас учили, что репортеру не надо оценивать факты. Не надо утаивать информацию. Его работа – *собирать* факты и информацию. То, что есть, – ни больше ни меньше. Его работа – оставаться бесстрастным наблюдателем. Теперь я знаю, что когда-нибудь ты, не задумываясь, позвонишь тем родителям в канун Рождества.

Дункан смотрит на часы, потом – на меня и говорит:

– А что там за эксперимент?

Завтра я буду знать, есть ли здесь какая-то связь. Причина и следствие. Это моя работа – писать репортажи. Я пропускаю страницу 27 сквозь бумагорезательную машину.

Палки и камни могут и покалечить, а слова по лбу не бьют.

Я не хочу ничего говорить, пока не буду знать наверняка. Это пока еще гипотетическая ситуация, и я не хочу, чтобы он надо мной смеялся, мой редактор. Я говорю:

– Нам обоим надо как следует выспаться, Дункан. – Я говорю: – А утром тогда поговорим.

Глава седьмая

Когда я допиваю первую чашку кофе, Хендерсон выходит из редакции внутренних известий. Кто-то хватает пальто и устремляется к лифту. Кто-то берет журнал и идет в сортир. Кто-то сидит, уткнувшись в компьютер, или делает вид, что разговаривает по телефону, Хендерсон стоит в центре общего зала с распущенным галстуком и расстегнутым воротничком и орет:

– Где, черт возьми, Дункан?

Он орет:

– Гранки уже в типографии, а где остальной материал на переднюю полосу?!

Народ пожимает плечами. Я беру телефонную трубку.

Подробности о Хендерсоне: у него светлые волосы, и он их зачесывает набок. Он ушел с юридического факультета, так и не доучившись. Он – главный редактор отдела внутренних известий. Он всегда в курсе прогнозов погоды, и петелька у него на пальто вечно торчит наружу. Пароль у него на компьютере – «пароль».

Он подходит к моему столу и говорит:

– Стрейтор, у тебя нет других галстуков, кроме этого кошмарного синего?

Держа трубку у уха, я произношу одними губами: *интервью*. Я спрашиваю у гудка в телефоне: первая буква «б», как в «боксе»?

Разумеется, я никому не сказал и не скажу о том, что прочел Дункану стихотворение. Я не могу позвонить в полицию и изложить им свою теорию. Я не могу объяснить Элен Гувер Бойль, почему я расспрашиваю ее о ее мертвом сыне.

Воротничок так жмет горло, что мне приходится делать усилие, чтобы проглотить кофе.

Даже если мне кто-то поверит, первое, что он спросит: *А что за стих?*

Покажи мне. Докажи.

Вопрос не стоит: *Узнают ли люди про стихотворение?*

Вопрос стоит так: *Сколько еще пройдет времени, прежде чем вымрет весь род людской?*

Вот – власть над жизнью и холодная, чистая, легкая и бескровная месть, доступная каждому. Каждому. Мгновенная, бескровная, голливудская смерть.

Даже если я буду молчать, сколько еще пройдет времени, прежде чем «*Стихи и потешки со всего света*» включат в школьную программу? Сколько еще пройдет времени, прежде чем стихотворение со страницы 27 прочитают вслух сорока детишкам перед тихим часом?

Сколько еще пройдет времени, прежде чем его прочитают по радио тысячам человек? Прежде чем слова положат на музыку? Переведут на другие языки?

Черт, его даже не нужно переводить. Грудные дети не знают речи.

Никто не видел Дункана уже трое суток. Миллер думает, что Дункану звонил Клейн. Клейн думает, что звонил Филлмор. Все уверены, что кто-то другой непременно звонил Дункану, но никто с Дунканом не разговаривал. Он не отвечает на электронную почту. Кейратерс говорит, что Дункан даже не позвонил, чтобы предупредить, что он заболел.

Чуть погодя, после второй чашки кофе, Хендерсон снова подходит ко мне с гранками раздела «Досуг и отдых». Лист сложен так, чтобы объявление сразу бросалось в глаза. Объявление шириной в три колонки и высотой в шесть дюймов.

Хендерсон смотрит, как я завожу часы и подношу их к уху, и говорит:

– Видел, в утреннем выпуске?

В объявлении сказано:

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ ПЕРВОГО КЛАССА АВИАКОМПАНИИ «РИДЖЕНТ-ПАСИФИК ЭРЛАЙНС»

В самом объявлении сказано: «У вас началось облысение и/или у вас появились вши после контакта с обивкой кресел в салоне, пледами или подушками? Если так, то звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд».

Хендерсон говорит:

– Ты ведь уже звонил, да?

А я говорю, что пусть он сам позвонит и не морочит мне голову.

А Хендерсон говорит:

– Ну, ты же у нас мистер Специальный Репортаж. – Он говорит: – У нас тут не тюрьма. И я не твоя жена, на меня орать.

Я сражен.

Ты становишься репортером не потому, что умеешь хранить секреты.

Репортер, журналист – это тот, кто рассказывает. Кто приносит плохие

новости. Распространяет инфекцию. Самая сенсационная новость всех времен и народов. Это может стать концом СМИ.

Баюльная песня станет чумой нашего века – века информационных технологий. Представьте мир, где люди не смотрят телевизор, не слушают радио, не ходят в кино, не лазят по Интернету, не читают газет и журналов. Они затыкают уши специальными затычками – как сейчас они надевают презервативы и резиновые перчатки. Раньше никто не боялся секса со случайными незнакомцами. А еще раньше – укуса блохи. Пить сырую воду. Комаров. Асбеста.

Представьте себе чуму, которая передается на слух.

Палки и камни могут покалечить, но теперь и слова тоже могут убить.

Новая смерть, эта чума, может прийти откуда угодно. Из песни. Из случайно услышанного объявления. Из колонки новостей. Из проповеди. От уличного музыканта. Можно подхватить смерть от ведущего в телемагазине. От учителя. От интернетского файла. От поздравительной открытки ко дню рождения. От печеньца с предсказанием судьбы.

Миллион человек посмотрят какое-нибудь телешоу, а наутро они все умрут, потому что среди программы была реклама.

Представьте, какая поднимется паника.

Представьте новые Средние века. Мракобесие. Первая чума пришла в Европу из Китая по торговым путям. В век массовой информации у нас есть тысячи новых путей распространения заразы.

Представьте костры из горящих книг. В тех же кострах горят видеопленки и аудиокассеты, телевизоры и радиоприемники. Библиотеки и книжные магазины полыхают в ночи. Люди идут на приступ станций радиолинейной связи. Люди с топорами кромсают оптоволоконный кабель.

Представьте, как люди хором распевают молитвы и гимны, чтобы заглушить всякий звук, который может нести в себе смерть. Они зажимают руками уши, они избегают речей и песен, в которых может быть зашифрована смерть – как в бутылочке с аспирином, отправленным психопатом-маньяком. Всякое новое слово. Все незнакомое и непонятное – все находится под подозрением, все таит в себе опасность. Всего этого следует избегать. Гарантия против коммуникаций.

И если это действительно заклинание на смерть, магическая формула, значит, есть и другие такие же. Если я знаю про песенку на странице 27, значит, узнает и кто-то еще. Тем более что я далеко не самый сообразительный в этом мире.

Сколько еще пройдет времени, прежде чем кто-то внимательно разберет эту баюльную песню и составит еще одну вариацию, и еще одну, и

еще? И каждая следующая будет сильнее предыдущей. Пока Оппенгеймер не изобрел атомную бомбу, никто и не думал, что такое возможно. Теперь мы имеем атомную бомбу, и водородную бомбу, и нейтронную бомбу, и ученые по-прежнему трудятся над созданием новых видов оружия. Нас принуждают к новому кошмару.

Если Дункан мертв, эта была необходимая жертва. Он был моим атмосферным ядерным испытанием. Моим Тринити. Моею Хиросимой.

И все же: Палмер из копировального отдела уверен, что Дункан у верстальщиков.

Дженкинс из цеха верстальщиков говорит, что Дункан, должно быть, в редакции искусства.

Хавли из редакции искусства говорит, что он в библиотеке.

Шотт из библиотеки говорит, что Дункан в копировальном отделе.

Это то, что сходит здесь за реальность.

Специальные службы в аэропортах заботятся о безопасности пассажиров. Представьте, что будет, когда в мир просочится баульная песня: в библиотеках и школах, в театрах и книжных магазинах. Везде, где распространяется информация, будет дежурить вооруженный спецназ.

Радио— и телеэфир станет глухим и пустым, как публичный бассейн при эпидемии полиомиелита. Транслировать будут только редкие правительственные обращения. Только выпуски тщательно перепроверенных новостей и музыку. Всякую музыку, книгу или кино будут сначала испытывать на животных или на добровольцах, прежде чем выпускать их в широкие массы.

Вместо защитных хирургических масок люди будут носить наушники, которые будут давать им постоянную и ненавязчивую защиту в виде безопасной музыки или птичьего пения. Люди будут платить за «чистые» новости, за «безопасную» информацию и развлечения. Представьте, что книги, и музыка, и кинофильмы – все будет тщательно фильтроваться и гомогенизоваться, наподобие того, как сейчас проверяют и подвергают соответствующей обработке молоко, мясо и кровь. Товар сертифицирован и одобрен. Пригоден к употреблению.

Люди с радостью откажутся от большей части своей культуры, лишь бы быть на сто процентов уверенными, что те кусочки, которые все же до них дойдут, будут чистыми и безопасными.

Белый шум.

Представьте мир глухой тишины, где любой звук определенной громкости и продолжительности, способной вместить убийственное стихотворение, будет объявлен вне закона. Никаких больше мопедов и

мотоциклов, никаких газонокосилок и реактивных самолетов, никаких электрических миксеров и фенов. Мир, где люди боятся слушать, боятся услышать что-нибудь *такое* за шумом уличного движения. Ядовитые слова под прикрытием громкой музыки, играющей у соседей. Представьте все нарастающее сопротивление языку. Никто ни с кем не разговаривает, потому что никто не решается слушать.

Блаженны глухие, ибо они унаследуют землю.

И неграмотные. И отшельники. Представьте себе мир – мир затворников.

Еще одна чашка кофе, и мне пришлось срочно нестись в туалет отливать. Хендерсон из внутренних известий ловит меня в сортире, когда я мою руки, и что-то мне говорит.

Это может быть все, что угодно.

Я сушу руки под электрической сушилкой и кричу ему, что ничего не слышу.

– Дункан! – кричит Хендерсон. Перекрывая шум воды и гудение сушилки, он кричит: – У нас два мертвых тела в гостиничном номере, и не понятно, надо давать это в новости или нет. Нам нужен Дункан, чтобы он разобрался!

Наверное, именно это он и сказал. Здесь слишком шумно.

Глядя в зеркало, я поправляю галстук и провожу пятерней по волосам. Отражение Хендерсона маячит рядом. Я могу на одном дыхании прочитать вслух баюльную песню, и уже к вечеру он навсегда исчезнет из моей жизни. Он и Дункан. Мертвы. Проще простого.

Но вместо этого я задаю вопрос: можно ли носить синий галстук с коричневым пиджаком.

Глава восьмая

Когда полицейский врач приехал на место, он первым делом позвонил своему брокеру фондовой биржи. Этот полицейский врач, мой друг Джон Нэш, быстренько оценил ситуацию в номере 17F в отеле «Прессмен» и распорядился продать все свои акции «Стюарт-Вестерн Технологиз».

– Да, меня могли попереть с работы, – говорит Нэш, – но за те три минуты, пока я звонил, два мертвеца на кровати вряд ли бы ожили, и вряд ли им стало бы хуже.

Потом он звонит мне и спрашивает, не хочу ли я дать ему пятьдесят баксов за интересную дополнительную информацию сверх официальной. Он говорит, что если у меня есть акции «Стюарт-Вестерн», надо срочно от них избавляться, а потом он ждет меня в баре на Третьей, что рядом с больницей.

– Господи, – говорит Нэш по телефону, – эта женщина – просто красавица. То есть была красавицей. Я не знаю, был ли там Тарнер. Тарнер – это мой партнер. – Он вешает трубку.

Согласно последним сводкам по котировке ценных бумаг, акции «Стюарт-Вестерн» уже можно спускать в унитаз. Должно быть, новость про Бейкера Льюиса Стюарта, основателя компании, и про его молодую жену Пенни Прайс Стюарт уже просочилась.

Вчера вечером, в семь часов, Стюарты поужинали в «Чешской кухне». Все это очень легко разузнать, подмазав консьержку в отеле. По словам официанта, обслуживавшего их столик, они заказали рисotto с семгой и грибы «Портобелло». Из чека не ясно, кто брал грибы, а кто – рис. Они выпили на двоих бутылку черного «Пино». Кто-то взял на десерт творожный торт. Оба выпили кофе.

В девять вечера они поехали на вечеринку в галерее Чемберс, где, по свидетельству очевидцев, переговорили со многими из присутствующих, в том числе – с хозяином галереи и с архитектором, который занимается перестройкой их нового дома. Каждый выпил еще по стакану вина.

В десять тридцать они вернулись в «Прессмен-отель», где проводили медовый месяц. В номере 17F.

Администратор отеля говорит, что они сделали несколько телефонных звонков между половиной одиннадцатого и полуночью. В двенадцать пятнадцать они позвонили дежурному по этажу и попросили разбудить их в восемь утра. Дежурный по этажу говорит, что они заказали в номер

кассету с порно.

На следующее утро, в девять часов, горничная обнаружила их обоих мертвыми.

– Эмболия, я бы сказал, – говорит Нэш. – Лижешь девочке одно место, вдуваешь ей туда воздух или пялишь ее слишком рьяно... в общем, и так, и этак, может так получиться, что ты запускаешь ей в кровь воздух и пузырьки постепенно доходят до сердца.

Нэш огромный и грузный. Здоровенный детина в теплом тяжелом пальто поверх белого халата. Он в своих неизменных белых ботинках, и когда я вхожу в бар, он уже ждет меня у стойки. Положив оба локтя на стойку, он ест сандвич из булки с говядиной, густо политый горчицей и майонезом. Он пьет кофе без сахара и молока. Его грязные, сальные волосы собраны в хвост, который торчит на макушке, как чахлая пальмочка.

Я говорю: и чего?

Я спрашиваю, был ли их номер ограблен.

Нэш просто жует свой сандвич, сосредоточенно двигая челюстями. Он держит булку обеими руками, но смотрит мимо – на тарелку с крошками, веточками укропа и остатками картофельных чипсов.

Я спрашиваю, было ли в номере что-нибудь необычное.

Он говорит:

– Как я понимаю, раз они были молодожены, он затрахал ее до смерти, а потом у него приключился сердечный приступ. Ставлю пять баксов, что на вскрытии у нее в сердце обнаружится воздух.

Я спрашиваю, проверил ли он хотя бы по памяти в телефоне, кто им звонил последним.

И Нэш говорит:

– Невозможно было проверить. Не по телефону в отеле.

Я говорю, что за свои пятьдесят баксов я хочу получить что-нибудь посущественнее его слюнотечений над мертвым телом.

– Ты бы и сам изошел слюной, – говорит он. – Блин, она была просто красавица.

Я спрашиваю, все ли было на месте: ценные вещи, часы, кошельки, драгоценности.

Он говорит:

– И все еще теплая, под одеялом. Вполне даже теплая. Никакой предсмертной агонии. Ничего.

Его массивная челюсть медленно движется – он продолжает жевать, глядя в пространство перед собой.

– Если у тебя есть возможность поиметь женщину, которую ты

хочешь, — говорит он, — и поиметь ее всеми способами, как ты хочешь, неужели ты ей не воспользуешься, этой самой возможностью?

Я говорю, что это будет изнасилование.

— Нет, — говорит он, — если женщина мертвая. — Он с хрустом раскусывает картофельную чипсу. — Если бы я был один... если бы я был один и у меня был бы гондон... — говорит он с полным ртом. — Главное, чтобы потом не обнаружили мою сперму.

Потом он говорит про убийство.

— Не похоже, чтобы ее убили, — говорит он и смотрит на меня. — Или убили *его*. У мужа очень даже аппетитная задница, если тебя заводят такие вещи. Но — вообще никаких следов. Никаких *livor mortis*. Никаких натяжений кожи. Ничего.

Как он может спокойно есть и говорить о таких вещах — у меня в голове не укладывается.

Он говорит:

— Они оба голые. Большое влажное пятно на матрасе, как раз между ними. Да, они именно этим и занимались. А потом умерли. — Нэш жует свой сандвич и говорит: — На самом деле она была лучше всех, с кем я трахался в этой жизни... даже мертвая.

Если бы Нэш знал баюльную песню, в мире бы не осталось ни одной живой женщины. Живой или девственницы.

Если Дункан мертв, я надеюсь, что Нэш не поедет на вызов. Может, теперь он всегда будет иметь при себе презерватив. Может, их продают в автомате в сортире у них в участке.

Я говорю: раз уж ты все так внимательно осмотрел, может быть, ты заметил какие-нибудь синяки, укусы, следы от иголок, хоть что-нибудь?

И он говорит:

— Ничего даже похожего.

Предсмертная записка? Может быть, это самоубийство?

— Нет, — говорит он. — Никакой записки. И никаких следов насилия. Как у нас говорят, смерть безо всяких видимых причин.

Нэш переворачивает сандвич в руках и слизывает горчицу и майонез, которые вытекают с другого конца. Он говорит:

— Помнишь Джейфри Дамера. — Нэш слизывает горчицу и майонез и говорит: — Он же не намеревался никого убивать. Он просто думал, что если просверлить дырку в черепе человека и залить туда жидкость для прочистки труб, то он станет твоимекс-зомби. Дамеру просто хотелось, чтобы рядом с ним кто-то был. Кто подчинялся бы ему безраздельно и никогда бы его не покинул.

Итак, что я получу интересного за свои пятьдесят баксов?

– У меня есть только имя, – говорит он.

Я даю ему две двадцатки и десятку.

Зубами он вытаскивает из булки кусок говядины. Кусок мяса свисает ему на подбородок, а потом он запрокидывает голову и втягивает его в рот. Он говорит с полным ртом, не прекращая жевать:

– Ну да, я свинья, я знаю. – Его дыхание пахнет горчицей. Он говорит:

– У них у обоих на сотовых телефонах, в истории звонков, последним стоял номер некоей Элен Гувер Бойль.

Он говорит:

– Ты скинул акции, как я тебе говорил?

Глава девятая

Это тот же самый зеркальный комод «Уильям и Мари». Согласно надписи на картонной карточке: черная лакированная сосна с инкрустацией в виде персидских сцен, выполненной серебряной позолотой, круглые конусообразные ножки и фронтон, отделанный резьбой в виде ракушек и завитков. Наверняка тот же самый. Мы повернули направо, прошли по узкому коридору, плотно заставленному разнообразными креслами, потом опять повернули направо рядом с буфетом эпохи Регентства, потом – налево у кровати эпохи Гражданской войны, но опять вышли к тому же комоду.

Элен Гувер Бойль проводит рукой по серебряной позолоте, по тусклым придворным персидского шаха и говорит:

– Не понимаю, о чём вы.

Она убила Бейкера и Пенни Стюартов. Она им звонила на сотовые телефоны за день до того, как они оба умерли. Она прочитала обоим баюльную песню.

– Вы утверждаете, что я убила этих людей, спев им песенку? – говорит она. Сегодня она во всем желтом, но волосы у нее по-прежнему розовые. У нее желтые туфли, но на шее по-прежнему – золотые цепочки и яркие бусы. Она, по-моему, переборщила с пудрой. Щеки кажутся слишком румяными.

Я очень быстро выяснил, что это именно Стюарты приобрели дом на Эксетер-драйв. Красивый исторический дом. Семь спален и панели из вишневого дерева на первом этаже. Дом, который они собирались сносить и строить на его месте новый. Планы, которые так разозлили Элен Гувер Бойль.

– О господи, мистер Стрейтор, – говорит она, – вы бы себя послушали!

Мы стоим как раз посреди узкого коридора из громоздящейся мебели, который тянется на несколько ярдов в обе стороны. Дальше, за поворотом, он разветвляется на новые коридоры: кресла впритык друг к другу, притиснутые друг к другу буфеты. За рядами невысоких предметов – кресел, диванов или столов – виднеются ряды бюро и комодов, стены из напольных часов, покрытых глазурью каминных экранов и ширм, секретеров эпохи короля Георга.

Она предложила нам встретиться здесь, где нам никто не помешает, – в огромном, складского типа магазине антиквариата. В этом лабиринте из мебели мы ходим кругами, вновь и вновь натыкаясь на тот же зеркальный

комод «Уильям и Мари» и на тот же буфет эпохи Регентства. Мы ходим кругами. Мы заблудились.

И Элен Гувер Бойль говорит:

– А вы еще кому-нибудь говорили про свою песню-убийцу?

Только моему редактору.

– И что на это сказал редактор?

Я думаю, что он мертв.

И она говорит:

– Вот тебе на. – Она говорит: – Вы, наверное, очень расстроены.

Наверху, на разной высоте, висят хрустальные люстры – мутные и серые, как напудренные парики. Растрепанные провода обвиваются тусклые подвесные крюки. Обрезанные провода, пыльные мертвые лампочки. Каждая люстра – еще одна отрубленная аристократическая голова, подвешенная «вверх ногами» к потолочной балке. Потолок выгибается сводом, шпренгельные балки поддерживают рифленую сталь.

– Идите за мной, – говорит Элен Бойль. – Тут легко потеряться. Я забыла, с какой стороны растет мох на креслах: с северной или южной?

Она слюнявит два пальца и поднимает их над головой.

Изящные горки рококо, якобинские книжные шкафы, комоды в неоготическом стиле, все – резьба и лакировка, французские платяные шкафы обступают нас со всех сторон. Застекленные шкафчики орехового дерева эпохи какого-то из Эдуардов, викторианские трюмо с высокими зеркалами, шифоньеры в стиле ренессанс. Красное дерево и орех, дуб и черное дерево. Круглые ножки, продолговатые ножки, ножки-кабриолет. За поворотом – новый коридор. Шифоньерки времен королевы Анны. Снова клен серебристый. Перламутровая отделка и золоченая бронза.

Наши шаги отдаются эхом по бетонному полу. Дождь барабанит по стальной крыше.

И она говорит:

– У вас нет ощущения, что вы похоронены под грузом истории?

Она достает связку ключей – рукой с ярко-розовыми ногтями, из белой с желтым сумочки. Она сжимает ключи в кулаке, и только самый длинный и острый торчит наружу между пальцами.

– Вы никогда не задумывались, что все, что вы делаете и что можете сделать в жизни, уже через сотню лет станет бессмысленным и никому не нужным? – спрашивает она. – Думаете, лет через сто кто-нибудь вспомнит о Стюартах?

Она переводит взгляд с одной отполированной поверхности на другую. Столы, шкафы, двери – ее отражение проплывает по ним.

– Люди умирают, – говорит она. – Люди сносят дома. Но мебель – красивая, стильная мебель, – она остается. Мебель переживает всех и вся.

Она говорит:

– Предметы мебели – это тараканы нашей культуры.

Не замедляя шагов, она проводит стальным ключом по отполированной стенке орехового буфета. Звук получается очень тихий, как бывает всегда, когда что-то твердое царапает что-то мягкое. Царапина получилась глубокая. Теперь видно, что за пафосной облицовкой скрывается дешевенькая сосна.

Она останавливается перед гардеробом с зеркальными дверцами.

– Подумать только, сколько поколений женщин смотрелись в это зеркало, – говорит она. – Привозили его домой. Старились в этом зеркале. Они все мертвые, все эти юные красивые женщины, а гардероб – вот он, пожалуйста. И стоит гораздо дороже, чем когда он был новым. Паразит, переживший хозяина. Большой отожравшийся хищник, который выискивает следующую добычу.

В этом лабиринте антиквариата, говорит она, живут духи давно уже мертвых людей – всех, кто когда-то владел этой мебелью. Всех, кто мог себе это позволить. Где теперь их таланты, ум и красота? Их пережил этот декоративный мусор. Богатство, успех, положение в обществе – все, что олицетворяла собой эта мебель, – где все это теперь?

Она говорит:

– Если смотреть с точки зрения веков, разве это действительно важно, от чего умерли Стюарты?

Я спрашиваю, как она поняла про баюльные чары. Она поняла, в чем тут дело, когда умер ее сын Патрик?

Но она просто идет вперед, ведя рукой по резным краям, по полированным дверцам и зеркалам. На зеркалах остаются следы.

Я очень быстро выяснил, как умер ее муж. Через год после смерти Патрика его нашли мертвым в постели – без каких-либо видимых повреждений, без предсмертной записки, без очевидной причины.

Элен Бойль говорит:

– А как он умер, этот ваш редактор?

Из своей желтой с белым сумочки она достает отвертку и плоскогубцы, такие чистые и блестящие, что их можно было бы использовать при хирургической операции. Она открывает дверцу большого отполированного шифоньера и говорит:

– Подержите, пожалуйста, чтобы она не болталась.

Я держу дверцу, а она возится с той стороны. Через пару секунд на пол

к моим ногам падают защелка и ручка.

Она снимает все ручки и все украшения из золоченой бронзы, она собирает все металлические детали, кроме петель, и ссыпает их в сумочку. Теперь, с ободранными дверцами, шкаф кажется изувеченным, кастрированным, истерзанным, слепым.

Я спрашиваю, зачем она это делает.

– Потому что мне нравится этот шкаф, – говорит она. – Но я не хочу стать его очередной жертвой.

Она закрывает дверцы и убирает свои инструменты в сумочку.

– Я вернусь за ним, когда они снизят цену до той, сколько он стоил, когда был новым, – говорит она. – Он очень мне нравится, но я его заберу на своих условиях.

Она проходит еще пару шагов вперед, и коридор упирается в непроходимый лес из вешалок для одежды, полок для шляп и подставок под зонты. Дальше виднеется глухая стена из платяных шкафов.

– Елизаветинская эпоха, – говорит она, прикасаясь к каждому из предметов. – Тюдоры... Истлейк... Густав Стикли...

Она объясняет, что старую мебель, собранную из нескольких разных предметов – скажем, из зеркала и комода, – специалисты называют «женатой». Для антикваров такая мебель ценности не представляет.

Мебель, которая получается, если разобрать один изначальный предмет на несколько и продать их по отдельности – скажем, ящик буфета и верхнюю часть, – называется «разведенной».

– И опять же, – говорит она, – для антикваров такая мебель ценности не представляет.

Я ей рассказываю о своих попытках разыскать все экземпляры книжки стихов. Я говорю о том, как это важно – чтобы никто не узнал про чары. После того что случилось с Дунканом, я клянусь, что сожгу все свои записи и забуду о том, что вообще знал эту баюльную песню.

– А что, если у вас не получится ее забыть? – говорит она. – Что, если она застрянет у вас в голове, как эти дурацкие рекламные песенки? Что, если она всегда будет при вас, как заряженное ружье, в ожидании кого-то, кто вас разозлит?

Я не воспользуюсь ею. Никогда.

– Давайте представим себе ситуацию, – говорит она. – Разумеется, гипотетически. Что, если я тоже клялась себе, что никогда не воспользуюсь этой песней. Я. Женщина, которая, как вы говорите, случайно убила своего ребенка и мужа, – человек, которого терзает это проклятие. И если такой человек, как я, все-таки стал применять эту песню, то почему вы уверены,

что не поступите точно так же?

Я говорю, никогда.

— Конечно-конечно, — отвечает она и беззвучно смеется. Она поворачивает направо, быстро проходит мимо спальни в стиле бидермайер, потом — снова направо, мимо столика арт-нуво, и на мгновение я теряю ее из виду.

Я прибавляю шаг, чтобы не отстать и не потеряться, и говорю на ходу: если мы хотим найти выход, то нам, наверное, надо держаться вместе.

Впереди снова маячит зеркальный комод «Уильям и Мари». Черная лакированная сосна с инкрустацией в виде персидских сцен, выполненной серебряной позолотой, круглые конусообразные ножки и фронтон, отделанный резьбой в виде ракушек и завитков. И, уводя меня еще глубже в дебри трюмо и комодов, бюро и трельяжей, книжных шкафов, кресел-качалок и вешалок для одежды, Элен Гувер Бойль говорит, что она мне расскажет одну историю.

Глава десятая

В редакции все притихли. Перешептываются, собравшись у кофеварки. Слушают с раскрытыми ртами. Никто не плачет.

Хендерсон ловит меня у вешалки и говорит:

– Ты звонил в «Риджент-Пасифик Эрлайнс» насчет их вшей?

Я говорю, что никто не хочет разговаривать, пока не заполнена учетная форма.

А Хендерсон говорит:

– Как только что-нибудь станет известно, сразу докладывай мне. – Он говорит: – Дункан не просто безответственный человек. Как оказалось, он умер.

Умер ночью, в своей постели, без каких-либо видимых повреждений. Без предсмертной записки, без очевидной причины. Его обнаружил хозяин квартиры и вызвал полицию.

Я говорю: а не было признаков, что тело подвергли содомии?

Хендерсон дергает головой и говорит:

– Чему подвергли?

Не отымели ли его в задницу?

– Господи, нет, – говорит Хендерсон. – А почему ты вдруг спрашиваешь?

Я говорю: просто так.

По крайней мере Дункан не стал мертвой куклой для секса.

Я говорю: если кто-нибудь будет меня искать, я – в библиотеке. Нужно проверить кое-какие факты. Просмотреть газеты за несколько лет. И пару-тройку бобин микрофильмов.

И Хендерсон кричит мне вслед:

– Только ты там недолго. Если Дункан умер, это не значит, что тебя освобождают от серии про мертвых детей.

Палки и камни могут покалечить, и поосторожнее со словами.

Просматривая микрофильмы, я натыкаюсь на любопытный факт. В 1983 году, в Вене, Австрия, 23-летняя медсестра дала ударную дозу морфия старой женщине, которая очень мучилась и просила, чтобы ей помогли умереть.

Семидесятисемилетняя пациентка умерла, а медсестра, Вальтруда Вагнер, поняла, что ей нравится власть над жизнью и смертью.

Вот оно, здесь – на бобинах с микрофильмами. Голые факты.

Сначала это была просто помощь умирающим пациентам. Она работала в госпитале для престарелых и неизлечимо больных. Если человек попадал в этот госпиталь, он уже оставался там. В ожидании смерти. Желанной смерти. Помимо морфия, Вальтруда Вагнер изобрела еще одно средство, которое она называла «водолечением». Чтобы облегчить человеку страдания, надо просто зажать ему нос. Потом прижать поплотнее язык и влить ему в горло воду. Смерть была медленной и мучительной, но стариков всегда находили мертвыми с водой, собравшейся в легких.

Молодая женщина называла себя ангелом.

Все смотрелось очень естественно.

Вагнер считала, что делает добре – благородное и героическое.

Она избавляла людей от страданий и боли. Она была очень внимательной, чуткой и ласковой, и она забирала лишь тех, кто сам просил смерти. Она была ангелом смерти.

А в 1987-м их было уже четыре. Четыре ангела, четыре медсестры. Они все работали в ночную смену. К тому времени госпиталь окрестили «Павильоном смерти».

Они уже не облегчали страдания, эти четыре женщины. Теперь они «назначали» водолечение пациентам, которые громко храпели, или мочились в постель, или отказывались принимать лекарства, или мешали медсестрам отдыхать по ночам – приходили на пост и ныли. Малейший повод к раздражению – и на следующее утро пациента находили мертвым. Каждый раз, когда пациент жаловался на что-то, Вальтруда Вагнер говорила:

– Этот уже прикупил билет к Господу Богу – буль-буль-буль.

– Те, кто меня нервировал, – говорила она на допросе, – отправлялись прямиком на свободную койку на небесах.

В 1998-м одна старушка обозвала Вагнер неряхой и потаскушкой, и ей «прописали» водолечение. Потом ангелы пили в тавerne, смеялись и изображали, как старушка билась в конвульсиях. Врач, сидевший в той же тавerne, случайно подслушал их разговор.

В ходе следствия выяснилось, что от «водолечения» умерли почти триста человек. Вагнер приговорили к пожизненному заключению. Остальные ангелы отделались меньшими сроками.

– Мы решали судьбу этих старых пердунов: жить им или умирать, – сказала Вагнер на суде. – Все равно их билеты к Господу были давно просрочены.

История, которую рассказала мне Элен Гувер Бойль, – это чистая

правда.

Власть развращает. А абсолютная власть развращает абсолютно.

Так что расслабься, сказала Элен Гувер Бойль, и получай удовольствие.

Она мне сказала:

– Но даже у абсолютного разложения есть свои преимущества.

Она сказала:

– Подумай о тех, кого тебе хочется, чтобы не было в твоей жизни. Подумай о всех концах, которые хочется обрубить. Месть. Подумай, как это будет просто.

А я все думал про Нэша. Про Нэша и про его мечты, что каждая женщина – каждая – будет податливой и согласной на все, по крайней мере два-три часа, пока не начнет остывать и разлагаться.

«Скажи мне, – сказал он тогда, – чем это отличается от отношений большинства пар?»

Каждый без исключения может стать твоим следующим сексуальным зомби.

Но если та австрийская медсестра, и Элен Гувер Бойль, и Джон Нэш не могут держать себя в руках, это еще не значит, что я стану бездумным и импульсивным убийцей.

Хендерсон встает в дверях библиотеки и орет:

– Стрейтор! Ты что, отключил пейджер? Нам только что позвонили насчет еще одного мертвенького ребенка.

Редактор мертв, да здравствует редактор. Старый босс, новый босс – разницы никакой.

И да, я согласен: без некоторых людей мир стал бы значительно лучше. Да, мир может стать совершенным – если немного его подправить. Небольшая уборка в доме. Небольшой неестественный отбор.

Но – нет. Я никогда не воспользуюсь этой баульной песней.

Больше – никогда.

Но даже если я ею и воспользуюсь, то не для мести.

И не для собственного удобства.

И уж точно – не для удовлетворения сексуальных потребностей.

Нет, если я ею и воспользуюсь, то исключительно на благо людей.

Хендерсон орет:

– Стрейтор! Ты хотя бы звонил насчет вшей в первом классе? Или насчет грибка в фитнес клубе? Надо достать руководство «Темного бора», иначе ты так и будешь топтаться на месте.

Я несусь по коридору в противоположную сторону, а у меня в голове

проносится баюльная песня. Я хватаю пальто и выбегаю на улицу.
Но – нет. Я никогда ею не воспользуюсь. Никогда. Ни за что.

Глава одиннадцатая

Эти звуко-голики. Эти тишина-фобы.

Бум, бум и бум сверху. Как бой барабана. От музыки сотрясается потолок. Сквозь стены слышны аплодисменты и громкий смех мертвых.

Даже в ванной, даже когда принимаешь душ, сквозь шум воды слышно, как надрываются радио у соседей. Даже когда струи воды бьют о пластиковую занавеску. Тебе не то чтобы хочется поубивать всех и вся, просто было бы славно, если бы мир узнал о баюльных чараках. Просто чтобы насладиться всеобщим страхом. Когда громкие звуки будут объявлены вне закона – всякие звуки, за которыми может скрываться смерть, всякая музыка или шум, маскирующие смертоносный стишок, – вот тогда станет тихо. Опасно и страшно, но тихо.

Кафельный пол подрагивает под ногами. Трубы вибрируют от соседских воплей. То ли от ядерных испытаний проснулся хищный доисторический динозавр и теперь убивает соседей, то ли они смотрят фильм, врубив телевизор на полную громкость.

В мире, где клятвы не стоят вообще ничего. Где обязательства – пустой звук. Где обещания даются лишь для того, чтобы их нарушать, было бы славно устроить так, чтобы слова обрели былое значение и мощь.

В мире, где каждый знает баюльную песню, повсюду будут стоять звуковые глушители. Как в военное время, по улицам будут ходить патрули. Патрули противозвуковой обороны. Они будут отслеживать шум и приказывать людям заткнуться. Точно так же, как специальные гражданские службы следят сейчас за загрязнением воздуха и воды, они будут отслеживать всякий звук громче шепота и арестовывать нарушителей. Люди будут ходить на цыпочках в туфлях на бесшумной резиновой подошве. Информаторы будут подслушивать у замочных скважин.

Это будет опасный и страшный мир, но зато можно будет спать, не закрывая окна. И каждое слово будет на вес золота.

Вряд ли он, этот мир, будет хуже теперешнего с его оглушительной музыкой, ревом от многочисленных телевизоров и радио.

Может быть, когда Большой Брат перестанет перегружать нам мозги, люди научатся думать.

Может быть, мы научимся жить своим умом.

Это вполне безопасно – и я произношу первую строчку баюльного

стихотворения. Меня никто не услышит, я никого не убью.

Но Элен Гувер Бойль права. Стишок накрепко врезался в память. Первое слово тянет за собой второе. Первая строчка – следующую. Мой голос гремит, словно на оперной сцене. Слова громыхают, как шар в кегельбане, и отдаются от кафельной плитки звенящим эхом.

Произнесенная в полный голос, баюльная песня звучит не так глупо, как звучала в тот вечер в кабинете у Дункана. Она звучит мощно и сильно. Это звук смертного приговора. Для моего идиота соседа сверху. Это конец его жизни в моем исполнении, и я договариваю весь стишок до конца.

Даже под душем я чувствую, как шевелятся волоски у меня на затылке. У меня перехватывает дыхание.

И – ничего.

Наверху по-прежнему грохочет музыка. Отовсюду, со всех сторон – вопли радио и телевизора, выстрелы, смех, взрывы и вой сирен. Где-то лает собака. Это то, что у нас называется прайм-тайм.

Я выключаю воду. Трясу головой. Отодвигаю занавеску и тянусь за полотенцем. И тут я вижу ее.

Вентиляционную трубу.

Шахта для вентиляции, которая соединяет все квартиры. Которая всегда открыта. Она выводит из ванной пар, запахи пищи – из кухни. По ней проходят и звуки.

Я стою мокрый, босыми ногами на кафельной плитке, и смотрю на решетку.

Вовсе не исключено, что я убил весь подъезд.

Только что.

Глава двенадцатая

Нэш – в баре на Третьей. Ест луковый соус прямо руками. Окунает два пальца в тарелку, потом запускает их в рот и обсасывает так смачно, что у него западают щеки. Вынимает пальцы изо рта и опять окунает их в соус.

Я интересуюсь: это что, завтрак?

– У тебя есть вопрос, – говорит он, – но сначала покажи денежки. – Он обсасывает свои пальцы в луковом соусе.

Тут же, у стойки, сразу за Нэшем, стоит молодой человек с бачками, в стильном костюме в тонкую полоску. Рядом с ним – девушка. Она стоит на приступочке под стойкой, чтобы ей было удобнее с ним целоваться. Он достает из коктейля вишенку и отправляет в рот. Они целуются. Она жует. Надо думать, ту самую вишенку. По радио за стойкой все еще объявляют меню школьных завтраков.

Нэш то и дело поглядывает на них.

Это то, что сейчас называют любовью.

Я кладу на стойку десятку.

Он опускает глаза, все еще держа пальцы во рту. Потом выразительно поднимает брови.

Я спрашиваю: прошлой ночью у меня в доме никто не умер?

Дом на семнадцатой. Называется Лумис-плейс. Лумис-плейс, многоквартирный восьмиэтажный дом из красного кирпича. Может быть, кто-нибудь с пятого этажа? В конце коридора. Молодой парень. Сегодня утром я обнаружил на потолке пятно. Потолок сильно протек.

У парня с бачками звонит мобильный.

Нэш вынимает пальцы изо рта и причмокивает губами. Скосив глаза, он рассматривает свои ногти.

Мертвый парень был наркоманом. Многие жители этого дома – законченные наркоманы. Я спрашиваю у Нэша, не умер ли кто-то еще в моем доме. Может быть, вчера ночью в Лумис-плейс умерли несколько человек?

Парень с бачками берет свою девушку прямо за волосы и отрывается от своего рта. Другой рукой он достает из кармана мобильный и подносит его к уху:

– Алло?

Я говорю, что если там кто-то умер, то все они умерли «без очевидной причины».

Нэш водит пальцем по луковому соусу у себя на тарелке и говорит:

– Ты живешь в этом доме?

Да, я уже говорил.

Парень с бачками говорит в телефон, по-прежнему держа девушку за волосы:

– Нет, радость моя. – Он говорит: – Я сейчас как раз в кабинете у доктора, и новости не особенно радостные.

Девушка закрывает глаза. Она запрокидывает голову и пытается освободить волосы.

А парень с бачками говорит:

– Нет, похоже, что метастазы есть. – Он говорит: – Нет, я в порядке.

Девушка открывает глаза.

Он ей подмигивает.

Она улыбается.

Парень с бачками говорит в телефон:

– Да, это многое значит. Я тебя тоже люблю.

Он отключает мобильник и притягивает девушку к себе.

Они снова целуются.

Нэш берет со стойки десятку и убирает в карман. Он говорит:

– Нет. Я ничего такого не слышал.

Нога девушки соскальзывает с приступочки. Она смеется. Она снова встает на приступочку и говорит:

– Это она звонила?

А парень с бачками говорит:

– Нет.

И все случается помимо моего желания. Я просто смотрю на парня с бачками, и у меня в голове проносится баюльная песня. Песня, мой голос в душе, голос судьбы – отзывается во мне эхом. Помимо воли. Чисто рефлекторно. Все происходит так быстро, как будто я просто чихнул.

Нэш говорит, дышила мне в лицо луком:

– Странно, что ты об этом спросил. – Он отправляет в рот палец в луковом соусе.

И девушка возле стойки говорит:

– Марти?

А парень с бачками медленно сползает на пол, цепляясь за стойку.

Нэш оборачивается посмотреть.

Девушка опускается на колени рядом с парнем, который теперь лежит на полу, и говорит:

– Марти?

Лак у нее на ногтях – ярко-малиновый с блестками. Ее малиновая помада вся размазана по губам парня.

Может быть, парень и вправду был болен. Может быть, он подавился вишненкой из коктейля. Может быть, я никого не убил – еще раз.

Девушка поднимает глаза, смотрит на Нэша, потом – на меня. Ее лицо влажно блестит от слез. Она говорит:

– Кто-нибудь знает, как делается массаж сердца?

Нэш снова макает пальцы в луковый соус, а я переступаю через тело на полу, хватаю пальто и иду к выходу.

Глава тринадцатая

Возвращаюсь в редакцию. Уилсон из международного отдела интересуется, видел ли я сегодня Хендерсона. Бейкер из литературной редакции говорит, что Хендерсон не звонил, чтобы предупредить, что он болен. Ему звонили домой, но к телефону никто не подходит. Олифант из редакции спецрепортажей говорит:

– Стрейтор, ты это видел?

Он показывает мне объявление:

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ ФРАНЦУЗСКОГО САЛОНА КРАСОТЫ

В объявлении сказано: «Вы посетили тамошнего косметолога и у вас на лице остались рубцы и шрамы?»

Номер, который стоит в объявлении, – новый. Я его раньше не видел. Я звоню по указанному телефону, и мне отвечает женщина:

– «Гренка, Гримза и Гаррота», юридические услуги.

Я вешаю трубку.

Олифант подходит к моему столу и говорит:

– Пока ты не ушел, скажи что-нибудь хорошее про Дункана. – Он говорит, они готовят статью памяти Дункана, человека и журналиста, и собирают добрые отзывы сослуживцев. Кто-то из отдела искусства рисует его портрет по фотографии с пропуска. – Только с улыбкой, – говорит Олифант. – С улыбкой и больше похожим на человека.

По дороге сюда из бара на Третьей я считал шаги. Чтобы чем-то занять свои мысли. Я насчитал 276 шагов, а потом, на углу, парень в черной кожаной куртке просвистел мимо меня со словами:

– Проснись, придурок. Пешеходам зеленый.

Все происходит само собой. Непроизвольно, как зевок. Я смотрю парню в спину, и баюльная песня звучит у меня в голове.

Он идет впереди, переходит улицу. Заносит ногу, чтобы ступить на тротуар на той стороне, но нога ударяется о поребрик, и он плашмя падает на асфальт. Ударяется головой. Звук такой, как будто на пол упало яйцо – только очень большое яйцо с мозгами и кровью внутри. Его руки безвольно лежат вдоль тела. Носки его черных ботинок свешиваются с края тротуара

и нависают над водостоком.

Я переступаю через него и считаю – 277. Считаю – 278, считаю – 279...

За квартал до редакции улица перекрыта барьером для скачек. Офицер в темно-синей форме трясет головой:

– Вам надо вернуться и перейти на ту сторону улицы. Эта сторона закрыта. – Он говорит: – Там фильм снимают. Прохода нет.

Все происходит само собой. Непроизвольно, как судорога в ноге. Я смотрю на его полицейский значок, и баюльная песня звучит у меня в голове.

Глаза у него закатились – видны только белки. Рука тянется к груди, колени подгибаются. Падая, он ударяется подбородком о верхний край барьера с такой силой, что слышно, как клацнули зубы. Изо рта вылетает что-то розовое и влажное. Кончик откушенного языка.

Я считаю – 345, считаю – 346, считаю – 347. Перелезаю через барьер и иду дальше.

Мне заступает дорогу женщина с портативной рацией в руке. Она вытягивает свободную руку, чтобы меня остановить. Но не успевает схватить меня за руку. Рот раскрылся, глаза закатились. Изо рта потекла тонкая струйка слюны. Она падает на тротуар. В ее рации звучит голос:

– Джин? Джин, ты где? Ты нам нужна.

Последняя строчка баюльной песни замирает у меня в голове.

Я считаю – 359, считаю – 360, считаю – 361. Я иду дальше, а люди бегут мне навстречу и проносятся мимо. Женщина с экспонометром на шее говорит:

– Кто-нибудь вызвал «скорую»?

Люди в живописных лохмотьях, в густом гриме, с бутылками питьевой воды в руках сгрудились у магазинных тележек, набитых всяkim мусором, под яркими прожекторами. Они тянут шеи – посмотреть, что случилось. Вдоль тротуара стоят трейлеры и фургоны. В воздухе пахнет дизельными моторами. Вся улица заставлена бумажными стаканчиками из-под кофе.

Я считаю – 378, считаю – 379, считаю – 380. Перелезаю через барьер на той стороне и иду дальше. 412 шагов до редакции. Поднимаюсь на лифте. Лифт, как всегда, переполнен. Он останавливается на пятом, и в кабину пытается втиснуться еще один человек.

Все происходит само собой. Непроизвольно, как это бывает, когда тебя вдруг бросает в жар. Я стою, прижатый к дальней стене кабины, и баюльная песня звучит у меня в голове так настойчиво, что мои губы шевелятся, беззвучно артикулируя слова.

Мужчина обводит взглядом кабину и отступает назад. Как будто в замедленной съемке. Мы не успеваем увидеть, как он падает на пол – двери лифта закрываются, и мы едем вверх.

В редакции все на месте. Нет только Хендерсона. Олифант подходит, когда я собираюсь звонить. Напоминает мне про статью о Дункане. Чтобы я сказал про него что-то хорошее. Он сует мне под нос объявление. Про Французский салон красоты и рубцы на лице. Он ненавязчиво интересуется, где моя очередная статья из серии про смерть в колыбельке.

Держа телефонную трубку в руке, я считаю – 435, считаю – 436, считаю – 437...

Олифанту я говорю: не зли меня.

Женский голос на том конце линии говорит:

– Элен Бойль. Продажа недвижимости. Чем могу вам помочь?

А Олифант говорит:

– А ты не пробовал досчитать до десяти?

Подробности об Олифанте: он очень толстый, и у него вечно потеют ладони. На гранках, которые он мне сует под нос, смазанные отпечатки. Пароль у него на компьютере – «пароль».

И я говорю: до десяти я давно уже досчитал.

Женщина на том конце линии говорит:

– Алло?

Прикрыв рукой трубку, я говорю Олифанту, что в городе эпидемия гриппа. Может быть, Хендерсон заболел. Сейчас я иду домой, но клятвенно обещаю, что пришлю статью после обеда.

Олифант произносит одними губами: *четыре часа – крайний срок* – и стучит пальцем по циферблату своих часов.

Я спрашиваю у женщины на том конце линии, на месте ли Элен Гувер Бойль. Я говорю, что меня зовут Стрейтор и мне нужно срочно с ней поговорить.

Я считаю – 489, считаю – 490, считаю – 491...

Женщина на том конце линии говорит:

– А она знает, о чем пойдет речь?

Да, говорю, она знает, но сделает вид, что не знает.

Я говорю, она должна меня остановить, пока я не убил кого-нибудь еще.

И Олифант пятится от меня, и отводит взгляд лишь через пару шагов, и убегает в редакцию спецрепортажей. Я считаю – 542, считаю – 543...

По пути в риэлторскую контору я прошу таксиста остановиться у моего дома и пару минут подождать.

Я поднимаюсь к себе. Мокрое пятно на потолке расползлось еще больше. Размером с автомобильную покрышку, только с ножками и ручками.

Я возвращаюсь в такси, пытаюсь пристегнуться, но ремень слишком короткий. Он сильно врезается мне в живот, и я вспоминаю, как Элен Гувер Бойль говорит: «Средних лет. Рост пять футов и десять дюймов, вес... фунтов сто семьдесят. Белый. Шатен, зеленые». Я вспоминаю, как она мне подмигивает из-под взбитого облака розовых волос.

Я называю таксисту адрес риэлторской конторы и говорю, что он может гнать хоть со скоростью реактивного самолета, главное, чтобы он меня не раздражал.

Подробности о такси: там воняет. Сиденья – черные и липкие. В общем, такси как такси.

Я говорю, что я жутко злой и раздражительный.

Таксист глядит на меня в зеркало заднего вида и говорит:

– Может, вам стоит пойти на курсы «Как контролировать раздражительность».

И я считаю – 578, считаю – 579, считаю – 580...

Глава четырнадцатая

Согласно «Архитектурному дайджесту», жить надо в большом особняке с частным садом и примыкающей коневодческой фермой. Согласно «Городу и деревне», отдохнуть надо на побережье. Согласно «Туризму и отдыху», лучший способ расслабиться – пройтись на собственной яхте вдоль солнечных берегов Средиземноморья.

В приемной риэлторской конторы Элен Гувер Бойль это проходит за экстренное сообщение. Сенсационные новости.

Экземпляры всех этих пафосных изданий лежат на низком кофейном столике. Диван с выгнутой спинкой «Честерфилд» обтянут розовым шелком в полоску. Рядом с диваном – еще один столик на «левиных» ножках со стеклянными шарами в когтях. Я смотрю на все это и думаю: сколько мебели попало сюда в «ободранном» виде – без металлических ручек и фурнитуры. Проданную за бесценок, ее привезли сюда, где Элен Гувер Бойль собрала ее снова.

Совсем молодая женщина, вдвое младше меня, сидит за резным столом в стиле Людовика XIV, вперив взгляд в электронные часы с радио. На табличке, что стоит у нее на столе, написано: Мона Саббат. Рядом с часами – радиосканер, пеленгующий полицейскую частоту, трещит статическими помехами.

По радио, что на часах, передают какое-то ток-шоу. Пожилая женщина ругается на молодую. Насколько я понимаю, молодая забеременела, не будучи замужем, и по этому поводу пожилая обзывают ее шлюхой, и потаскучкой, и еще дурой в придачу – потому что дать-то она дала, а взять денег ума не хватило.

Женщина за столом, эта самая Мона, выключает радиосканер и говорит:

– Вы не против, надеюсь? Мне очень нравится это шоу.

Эти звуко-голики. Эти тишина-фобы.

Потребители массовой информации.

Пожилая женщина на радио говорит молодой потаскучке, чтобы та отдала ребенка в детдом, если не хочет ломать себе жизнь. Она говорит, что молодой шлюшке надо подумать о будущем: окончить университет по курсу микробиологии, потом выйти замуж, и до замужества – никакогоекса.

Мона Саббат достает из-под стола пакет из плотной бумаги и

вынимает из него какую-то штуку, завернутую в фольгу. Она разворачивает фольгу, и по комнате разносится запах чеснока и ноготков.

Беременная потаскушка на радио только рыдает в голос.

Палки и камни могут покалечить, а слова могут и вовсе убить.

Согласно «Городу и деревне», личную переписку следует вести на качественной почтовой бумаге, обязательно от руки и красивым почерком. В свежем номере «Недвижимости» я натыкаюсь на объявление:

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ КОННО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «НОРОВИСТАЯ ЛОШАДКА»

В объявлении сказано: «Вы заразились кожной инфекцией?»

Номер, который стоит в объявлении, – новый. Я его раньше не видел.

Пожилая женщина на радио говорит молодой потаскушке, чтобы она прекратила реветь.

Большой Брат поет и пляшет. Насильно кормит тебя с большой ложки, чтобы твой разум не изголодался по мысли, чтобы не дать тебе время задуматься.

Мона Саббат кладет локти на стол и наклоняется ближе к радио. Звонит телефон, она поднимает трубку:

– Элен Бойль. Продажа недвижимости. Подходящий дом – на любой вкус. – Она говорит: – Ой, это ты, Устрица. Ты извини, тут как раз «Доктор Сара». – Она говорит: – Увидимся на церемонии.

Пожилая женщина на радио обзывает молодую сукой.

На обложке «Первого класса» написано: «Соболь. Узаконенное убийство».

Все происходит само собой. Непроизвольно, как это бывает, когда на тебя нападает икота. Краем уха я слушаю радио, краем глаза читаю журнал, и баульная песня звучит у меня в голове.

Из динамика радио слышны только безудержные рыдания.

А вместо реплики пожилой – тишина. Приятная, благословенная тишина. Совершенная тишина. Такой тишины не бывает, если поблизости есть кто-то живой.

Молоденькая потаскушка с шумом вдыхает воздух и говорит:

– Доктор Сара? – Она говорит: – Доктор Сара, вы здесь?

Ей отвечает глубокий и звучный голос. Шоу доктора Сары Ловенштейн прерывается по техническим причинам. Глубокий и звучный голос извиняется перед «уважаемыми радиослушателями». Включается

легкая танцевальная музыка.

На обложке «Особняка» написано: «Бриллианты – это становится легкомысленным».

Со стоном я закрываю лицо руками.

Мона вгрызается в свой сандвич. Выключает радио и говорит:

– Бездельники.

Тыльные стороны ее ладоней разрисованы замысловатым узором – ржаво-коричневой хной. Пальцы – даже большие пальцы – унизаны серебряными перстнями. На шее – многочисленные серебряные цепочки. Ядовито-оранжевое платье. Ткань на груди топорщится из-за многочисленных тяжелых кулонов, спрятанных под платье. Красные с черным дреды собраны в небрежный высокий пучок. В ушах – огромные серьги, серебряная филигрань. Глаза, похоже, янтарно-желтые. Лак на ногтях – черный.

Я интересуюсь, давно ли она тут работает.

Она говорит:

– Вы имели в виду по земному времени?

Она достает из ящика стола книжку в мягкой обложке, вынимает оттуда желтый фломастер, который вместо закладки, и открывает книжку.

Я интересуюсь, любит ли миссис Бойль говорить о поэзии.

А Мона говорит:

– Вы имели в виду Элен?

Да, читает ли она стихи? Вслух? Было такое, чтобы она позвонила кому-нибудь и прочитала по телефону стихи?

– Не поймите меня неправильно, – говорит Мона, – но миссис Бойль недосуг заниматься такой ерундой. Она делает деньги.

И я считаю – раз, я считаю – два...

– Тут все очень просто, – говорит Мона. – Когда на улицах пробки, миссис Бойль заставляет меня ехать домой вместе с ней – чтобы она могла пользоваться полосой для служебного транспорта. А потом мне приходится добираться до дома на трех автобусах. Понимаете?

Я считаю – четыре, считаю – пять...

Она говорит:

– Однажды мы с ней разделили великое знание о силе кристаллов. Как будто мы наконец обрели связь на каком-то уровне, но потом оказалось, что мы говорили о двух совершенно разных реальностях.

Я встаю и подхожу к ее столу. Достаю из кармана листок бумаги, разворачиваю и показываю ей стишок. Может быть, он ей знаком?

В книге, раскрытой у нее на столе, подчеркнуто желтым: *Магия есть*

обращение необходимой энергии на достижение естественных сдвигов.

Она пробегает стихотворение глазами. Глаза у нее – янтарно-желтые. Чуть выше выреза платья, над правой ключицей, я замечаю татуировку – три крошечные звездочки. Она сидит нога на ногу. Сидит босиком. У нее грязные ноги. На больших пальцах – по большому серебряному кольцу.

– Я знаю, что это, – говорит она и тянет руку к листочку.

Но я быстро складываю листок и убираю обратно в карман.

Все еще держа руку на весу, она тычет в меня указательным пальцем и говорит:

– Я знаю, что это такое. Это баульное заклинание, правильно?

В книге, раскрытой у нее на столе, подчеркнуто желтым: *Конечный продукт смерти – последующее возрождение.*

На дальнем конце полированного стола из вишневого дерева – длинная глубокая царапина.

Я спрашиваю, что ей известно про баульные заклинания.

– Про них говорится в литературе всех народов мира, – говорит она, пожимая плечами. – Но предполагается, что они утеряны. – Она протягивает руки ладонями вверх. – Дайте мне посмотреть еще раз.

Я говорю: а как они действуют?

Она быстро сгибает и разгибает пальцы.

Я качаю головой: нет. Я говорю: почему эти баульные чары убивают других людей, но не того, кто их произносит?

И Мона слегка наклоняет голову набок и говорит:

– А почему пистолет не убивает того, кто жмет на курок? И здесь действует тот же принцип. – Она поднимает руки над головой и потягивается, направив ладони к потолку. Она говорит: – Не существует рецепта, как их составить. Их нельзя препарировать с помощью электронного микроскопа.

Ее платье без рукавов. Волосы у нее в подмышках банального русого цвета.

Но как получается, говорю я, что они действуют на человека, который их даже не слышит? Я смотрю на радиоприемник. Почему они действуют даже тогда, когда ты произносишь их про себя – не вслух?

Мона Саббат вздыхает. Переворачивает раскрытую книжку обложкой вверх и затыкает желтый фломастер за ухо. Потом достает из ящика стола блокнот и ручку и говорит:

– Вы не знаете, да?

Она что-то пишет в блокноте и говорит параллельно:

– Когда я была католичкой, давным-давно, я могла прочитать «Аве

Мария» за семь секунд. За девять секунд – «Отче наш». Когда на тебя налагаются такое количество епитимий, поневоле научишься скорочтению. – Она говорит: – При таком темпе это уже не слова, но молитва все равно остается молитвой.

Она говорит:

– Заклинания нужны для того, чтобы сфокусировать наше намерение. – Она произносит все это медленно, словно за словом, и умолкает, как будто ждет, что я что-то скажу. Она смотрит мне прямо в глаза и говорит: – Если намерение исполнителя обладает достаточной силой, объект заклинания уснет независимо от того, где он в данный момент находится.

Она говорит, что чем больше эмоций человек вкладывает в заклинание, тем сильнее получаются чары. Мона Саббат щурится и говорит:

– Когда вы в последний раз чувствовали себя легко и непринужденно?

Почти двадцать лет назад. Но ей я этого не говорю.

– Мне кажется, – говорит она, – что вас что-то гнетет. Причем постоянно. Печаль. Или злость. Ну, в общем, *что-то*. – Она прекращает писать и берет свою книжку с подчеркнутыми желтым малопонятными фразами. Находит нужную страницу, на пару секунд погружается в чтение, потом листает дальше. – Уравновешенному человеку, – говорит она, – человеку спокойному, человеку, который внутренне не напряжен, пришлось бы прочесть песню вслух, чтобы кого-нибудь усыпить.

Продолжая читать, она хмурится и говорит:

– Если ты хочешь владеть собой, сначала следует разобраться со своими внутренними проблемами.

Я говорю: это из вашей книги?

– Из шоу доктора Сары, – говорит она.

А я говорю, что баюльная песня не только усыпляет.

– В смысле? – не понимает она.

В смысле, что от нее умирают. Я говорю: вы уверены, что у Элен Бойль нету книги «*Стихи и потешки со всего света*»?

Мона Саббат роняет руки на стол и берет сандвич, завернутый в фольгу. Подносит его ко рту, смотрит на радиоприемник. Она говорит:

– Сейчас, на радио. – Она говорит: – Это вы сотворили?

Я молча киваю.

– Вы отправили доктора Сару в следующую инкарнацию?

Я говорю, может быть, вы позвоните Элен Гувер Бойль на сотовый – мне надо срочно с ней поговорить.

У меня бибикает пейджер.

А Мона говорит:

– То есть вы утверждаете, что Элен использует эту самую баульную песню?

Сообщение на пейджере: срочно перезвонить Нэшу. Срочно.

Я говорю, что не могу ничего доказать, но я уверен, что миссис Бойль знает, как с ней обращаться. Я говорю: мне нужна ее помощь, чтобы я научился себя контролировать. Чтобы я научился владеть собой.

Мона Саббат прекращает писать и вырывает листок из блокнота. Протягивает его мне, но пока не отдает. Она говорит:

– Если вы это серьезно... насчет научиться, как контролировать эту силу... приходите на нашу викканскую церемонию. Это древний языческий культ. – Она машет листком у меня перед носом и говорит: – Тысячелетний магический опыт. – Она включает радиосканер.

Я беру у нее листок. На нем – адрес, дата и время.

Радиосканер трещит:

– Подразделение Браво-девять, ответьте на вызов по коду девять-четырнадцать, Лумис-плейс, подразделение пять-Д.

– Целой жизни не хватит, чтобы познать мистические глубины этого древнего знания, – говорит Мона и опять принимается за свой сандвич. – Да, и еще, – говорит она, – принесите свое любимое горячее блюдо, но только без мяса.

И радиосканер трещит:

– Как понял?

Глава пятнадцатая

Элен Гувер Бойль достает мобильный из своей белой с зеленым сумочкой. Потом достает визитку и набирает номер, сверяя каждую цифру. В приглушенном свете маленькие зеленые кнопочки кажутся особенно яркими. Ярко-зеленые кнопочки под ярко-розовым ногтем. Визитная карточка – с золотым обрезом.

Она подносит телефон к уху под взбитым облаком розовых волос. Она говорит в трубку:

– Да, я на вашем чудесном складе и боюсь, что мне нужна помощь, чтобы найти выход.

Она наклоняется к табличке на огромном платяном шкафу, который выше нее в два раза. Она говорит в трубку:

– Я стою рядом... – она читает с таблички, – с платяным шкафом в неоклассическом стиле под Роберта Адама с орнаментальными арабесками из позолоченной бронзы.

Она смотрит на меня и закатывает глаза. Она говорит в трубку:

– Написано: семнадцать тысяч долларов.

Она снимает зеленые туфли на высоких каблуках и стоит в белых чулках прямо на голом бетонном полу. Чулки ослепительно белые, но не как нижнее белье, а скорее как кожа под этим бельем. Они непрозрачные, и поэтому пальцы у нее на ногах кажутся перепончатыми.

Сегодня на ней костюм с облегающей юбкой. Он зеленый, но не зеленый, как лайм, а скорее как лаймовая начинка для пирога. Он не зеленый, как авокадо, а скорее как авокадовый суп-пюре с тоненьким завитком цедры лимона сверху, который подают охлажденным в ярко-желтой тарелке Cristel de Sevres.

Он зеленый, как сукно на бильярдном столе под желтым шаром – именно под желтым, а не под красным.

Я спрашиваю у Элен Гувер Бойль, что такое код девять-четырнадцать.

И она говорит:

– Мертвое тело. Труп.

Я говорю, что я так и думал.

Она говорит в трубку:

– Так, а теперь – налево или направо возле палисандрового буфета Hepplewhite с резным цветочным орнаментом и шелковым напылением?

Прикрыв рукой трубку, она говорит мне:

– Ох уж мне эта Мона. – Она говорит: – Представляю себе это сберище колдунов: хиппи, плящущие голышом вокруг какого-нибудь плоского камня, – вот и весь ритуал.

Теперь мне видно, что ее волосы – не сплошь розовые. Пряди различных оттенков, чуть светлее и чуть темнее. А если как следует присмотреться, то видны даже оттенки красного, персикового и малинового.

Она говорит в трубку:

– Ага, понятно. Если мне попадется кромвельское кресло атласного дерева с орнаментом из слоновой кости, значит, надо идти назад.

Мне она говорит:

– Господи, и зачем вы все рассказали Моне?! Мона расскажет своему бойфренду, и конца этому не будет.

Лабиринт мебели смыкается вокруг нас. Красное дерево, черное дерево, коричневая полировка. Позолота и зеркала.

Она проводит пальцем по кольцу с бриллиантом у себя на руке. Камень массивный и острый. Она переворачивает кольцо, так что бриллиант возвышается над ладонью. Она прижимает ладонь к полированной дверце шкафа. На дверце остается глубокая царапина в виде стрелки налево.

Она отмечает дорогу.

Оставляет свой след в истории.

Она говорит в трубку:

– Большое спасибо. – Она заканчивает разговор и убирает мобильный обратно в сумочку.

Бусы у нее на шее – из какого-то непонятного зеленого камня. Зеленые бусины перемежаются с золотыми. Под ними – еще одни бусы, жемчужные. Раньше я их на ней не видел.

Она надевает туфли и говорит:

– Отныне и впредь моя основная задача – держать вас с Моной подальше друг от друга.

Она взбивает волосы над ухом и говорит:

– Идите за мной.

Она проводит ладонью по поверхности столика – рисует еще одну стрелку. Дубовый карточный столик Шератон с раздвижными ножками и откидной крышкой, как написано на табличке.

Теперь – искалеченный.

Элен Гувер Бойль идет впереди. Она говорит:

– И зачем вы вообще занялись этим делом?! – Она говорит: – Вас оно

не касается.

Потому что я – репортер, она это имеет в виду? Потому что я – репортер, который взялся расследовать что-то такое, о чем нельзя никому рассказать? Потому что это рискованно. Потому что я в лучшем случае выставляю себя вуайеристом. А в худшем – стервятником.

Она останавливается перед большим гардеробом со стеклянными дверцами, и я вижу свое собственное отражение у нее за плечом. Она открывает сумочку и достает маленький золоченый цилиндр. Губную помаду.

– Именно это я и имею в виду, – говорит она.

Стиль французский ампир с египетскими мотивами в переплетающемся разноцветном орнаменте, как написано на табличке.

В зеркале – Элен Гувер Бойль открывает помаду.

Помада – ядовито-розовая.

Я говорю у нее за спиной: а если это не только работа?

Может быть, я не только газетный хищник, который гоняется за сенсацией.

Совершенно без всякой связи мне вспоминается Нэш.

Я говорю, может быть, я узнал про книгу, потому что когда-то она была и у меня. Может быть, у меня были жена и дочь. Что, если я прочитал им на ночь этот проклятый стишок, чтобы они побыстрее заснули? Давайте представим себе ситуацию. Разумеется, гипотетически. Что, если я их убил? Если ей нужно что-то вроде рекомендательного письма, такое признание подойдет?

Она растягивает губы и подкрашивает их по новой – розовым поверх розового.

Я подхожу еще ближе и говорю: как на ваш взгляд, я достаточно настрадался?

Она поджимает губы, а потом медленно приоткрывает. В последний момент они залипают на долю секунды.

Не дай бог никому выстрадать столько, сколько выстрадала Элен Гувер Бойль.

И я говорю, может быть, я потерял не меньше.

Она закрывает помаду. Убирает обратно в сумочку и оборачивается ко мне.

Она стоит передо мной, вся блестательная и спокойная, и говорит:

– Гипотетически?

Я выжимаю улыбку и говорю: разумеется.

Она прижимает ладонь к зеркальной дверце. На зеркале остается

глубокая царапина в виде стрелки направо. Она идет дальше, но медленно, ведя рукой по буфетам, трюмо и комодам, по навощенному дереву, по полировке – идет, разрушая все, к чему прикасается.

Она говорит:

– А вы никогда не задавались вопросом, откуда оно вообще появилось, это стихотворение?

Африканский фольклор, говорю я, стараясь не отставать от нее ни на шаг.

– Я говорю про книгу. Книгу заклинаний. – Она идет мимо бюро и сервантов, мимо кресел Farthingale. Она говорит: – «Книгу теней», как ее называют ведьмы. У каждой колдуны она своя.

«Стихи и потешки со всего света» вышли одиннадцать лет назад, говорю я. Я кое-что разузнал. Тираж был совсем небольшой – пятьсот экземпляров. Издатель, «KinderHaus Press», вскорости обанкротился, и права на переиздание и печатные формы с набором перешли к некоему человеку, который купил их вместе со всей остальной обстановкой, когда покупал дом автора-составителя, который скоропостижно скончался – безо всякой видимой причины – три года назад. Я не знаю, как сейчас обстоит дело с правами. Может, со смертью автора-составителя они переходят во всеобщее пользование. Я так и не выяснил, кому они принадлежат сейчас.

Элен Гувер Бойль замирает на месте, ладонь с бриллиантом останавливается точно посередине широкого зеркала. Она говорит:

– Права сейчас у меня. Я знаю, каким будет следующий вопрос, поэтому отвечаю сразу. Я их купила три года назад. Мне удалось разыскать триста из первоначальных пятисот экземпляров, и я все их сожгла.

Она говорит:

– Но это не самое главное.

Я соглашаюсь с ней. Да. Самое главное – разыскать оставшиеся экземпляры и остановить эту чуму. Принять срочные меры по борьбе со стихийным бедствием. Самое главное – найти способ, как забыть песню самим. Может быть, Мона Саббат и ее компания нам в этом помогут.

– Господи, – говорит Элен, – только, пожалуйста, не говорите, что вы собираетесь посетить это шаманское собрище. – Она говорит: – Вы, как я понимаю, наводили справки о составителе? И что удалось узнать?

Его звали Бэзил Франки, и человек он был вполне заурядный. Он собирал старые литературные произведения, которые давно не переиздавались или не издавались вообще и на которые ни у кого не было авторских прав, и составлял антологии. Средневековые сонеты, непристойные лимерики, детские стишкы. Кое-что он брал из старых

букинистических книг. Кое-что – из Интернета. Он был не особо разборчив. Все, что можно было добыть бесплатно, он включал в свои сборники.

– Но откуда он взял этот конкретный стишок? – говорит она.

Я не знаю. Может быть, из какой-нибудь старой книги, которая до сих пор лежит где-то в подвале. Может быть, даже в его старом доме.

– Нет, там ее нет, – говорит Элен Гувер Бойль. – Я купила его старый дом. Со всем, что в нем было. В ведре в кухне под раковиной еще оставался мусор, в шкафах лежали его трусы. Но книги там не было.

Вопрос напрашивается сам собой: не она ли его убила?

– Давайте представим себе ситуацию, – говорит она. – Разумеется, гипотетически. Если я убила своего мужа и своего сына, разве я бы не разъярилась на какого-то безответственного, жадного и ленивого дурака плагиатора, из-за которого я лишилась всех своих близких?

Точно так же, как – чисто гипотетически – она убила Стюартов.

Она говорит:

– Я убеждена, что изначальная «Книга теней» не исчезла. Она где-то есть.

Я согласен. И нам надо найти ее и уничтожить.

И Элен Гувер Бойль улыбается своей ядовито-розовой улыбкой. Она говорит:

– Вы, наверное, шутите. – Она говорит: – Власть над жизнью и смертью – это еще не все. Неужели вам не интересно, какие там есть еще заклинания?

Все происходит внезапно. Непроизвольно, как это бывает, когда на тебя нападает икота. Я переношу весь свой вес на здоровую ногу. Я смотрю на Элен Гувер Бойль и говорю ей: нет.

Она говорит:

– Может, там есть заклинание, чтобы жить вечно.

И я говорю: нет.

А она говорит:

– Может, там есть заклинание, чтобы заставить любого тебя полюбить.

Нет.

И она говорит:

– Может, там есть заклинание, чтобы превращать солому в золото.

И я говорю: нет – и отворачиваюсь от нее.

– Может, там есть заклинание, чтобы добиться мира во всем мире, – говорит она.

Я говорю: нет – и иду прочь по узкому коридорчику между глухими

стенами из книжных шкафов и гардеробов, письменных столов и спинок кроватей. По каньонам старинной мебели.

Она говорит у меня за спиной:

– Может, там есть заклинание, чтобы превращать песок в хлеб.

Я иду прочь, припадая на больную ногу.

И она говорит:

– Вы куда? Выход – в другой стороне.

У застекленного шкафчика из ирландской сосны с отбитой резьбой на фронтоне я поворачиваю направо. У чиппендейловского бюро, покрытого черным блестящим лаком, я поворачиваю налево.

Она говорит у меня за спиной:

– Может, там есть заклинание, чтобы лечить больных. И исцелять калек.

У бельгийского серванта с узорчатым карнизом я поворачиваю направо, потом – налево, у изящного шкафчика эпохи какого-то из Эдуардов с хрустальной стенкой из художественного стекла.

Она говорит у меня за спиной:

– Может, там есть заклинание, чтобы раз и навсегда очистить окружающую среду и превратить мир в земной рай.

Стрелка, нацарапанная на столешнице, указывает в одну сторону, так что я направляюсь в другую.

И она говорит у меня за спиной: может быть, там написано, как получить неограниченное количество самой чистой энергии.

Как переместиться назад во времени, чтобы предотвратить трагедию.

Научиться чему-то новому. Познакомиться с интересными людьми.

Сделать так, чтобы все были богаты, здоровы и счастливы.

Может быть, провести весь остаток жизни, хромая из угла в угол по пустой, одинокой квартире, где стены дрожат от шума, – это не то, что мне нужно.

Стрелка на вышитой ширме указывает в одну сторону, так что я направляюсь в другую.

У меня снова бибикает пейджер. Снова – Нэш.

И она говорит у меня за спиной: если есть заклинание, чтобы убить, то есть и другое – чтобы вернуть их к жизни. Тех, кого ты убил.

Может быть, это мой второй шанс.

Она говорит у меня за спиной: может быть, мы попадаем в ад не за те поступки, которые совершили. Может быть, мы попадаем в ад за поступки, которые не совершили. За дела, которые не довели до конца.

У меня снова бибикает пейджер. Нэш просит срочно перезвонить.

Я не останавливаюсь. Я иду, припадая на больную ногу.

Глава шестнадцатая

На это раз Нэш не стоит у стойки. Он сидит за маленьким столиком в глубине бара, в самом темном углу. Если бы на столе не горела свечка, он бы сидел в полной темноте. Я говорю: привет, получил твою тысячу сообщений на пейджер. Я говорю: почему вдруг такая спешка?

На столе перед Нэшем – газета. Сложенная так, что заголовок сразу бросается в глаза:

ТАИНСТВЕННЫЙ ВИРУС УНЕС СЕМЬ ЖИЗНЕЙ

В подзаголовке сказано: «Известный общественный деятель и редакторуважаемой местной газеты предполагается первой жертвой».

Какой еще известный общественный деятель? Я читаю статью. Как выясняется, это Дункан. А я и не знал, что его звали Лесли. Но почему вдруг *известный* и почему вдруг *общественный деятель*?

Не слишком ли громко сказано, тем более если учесть, что журналист и его репортаж взаимно исключают друг друга.

Нэш стучит по газете пальцем и говорит:

– Ты уже видел?

Я говорю, что как ушел из редакции с утра, так больше и не возвращался. И, черт побери, я даже забыл отправить следующий репортаж насчет смерти в колыбельке. Я читаю статью и натыкаюсь на собственные слова. Для меня Дункан был больше, чем просто редактор – это я якобы так сказал, – больше, чем просто наставник. Лесли Дункан был для меня как отец. Черт бы побрал Олифанта и его потные руки.

Все происходит само собой. Непроизвольно, как это бывает, когда тебя пробирает озноб. По спине пробегает льдистый холодок, пульс учащается, и баюльная песня звучит у меня в голове. Не знаю, где сейчас Олифант, но могу догадаться, что с ним происходит: он тихо сползает со стула и падает на пол. Злость, копившаяся годами, прорывается снова.

Не важно, сколько людей умирает, все равно все остается по-прежнему.

На столе перед Нэшем – пустая бумажная тарелка с остатками картофельного салата. Нэш мнет в руках бумажную салфетку, скручивая ее в толстый жгут. Он глядит на меня поверх пламени свечи и говорит:

– Мы забрали того парня из твоего дома. – Он говорит: – Смерть безо всякой видимой причины в окружении кошек и тараканов. Вскрытие ничего не показало.

Тот парень, который свалился здесь, в баре, сегодня утром, парень с бачками и сотовым телефоном, – смерть безо всякой видимой причины. Медэксперты в недоумении. Потом еще – трое людей умерли прямо на улице. Между баром и зданием редакции.

– Потом еще один, в здании редакции, – говорит Нэш. – Умер, пока дожидался лифта.

Он говорит, медэксперты предполагают, что все они умерли по одной и той же причине. Из-за какого-то непонятного «вируса».

– Однако полиция подозревает, что дело в наркотиках, – говорит он. – Может быть, сукцинилхолин. Внутривенно. Сами ширнулись или кто-то вколол им его насильно. Нейромышечный блокиратор. Расслабляет все мышцы, так что человек не может нормально дышать и умирает от кислородного голодания.

Подробности о той женщине, которая пыталась меня остановить, когда я зашел за киношные ограждения, о женщине с портативной рацией: у нее были длинные черные волосы, облегающая футболка и упругие сиськи. Джинсы в облипку и маленькая аппетитная попка. Нэш вполне мог на нее польститься. Скажем, по дороге в морг.

Очередная победа.

Уж не знаю, что Нэш собирается мне сказать, но мне почему-то не хочется его слушать.

Он говорит:

– Но мне кажется, что полиция ошибается.

Нэш проводит скрученной в жгут салфеткой над пламенем свечи, пламя дергается, завиток черного дыма поднимается к потолку. Пламя выравнивается, и Нэш говорит:

– На тот случай, если ты вдруг решишь позаботиться обо мне, как ты уже позаботился обо всех остальных, – говорит он, – имей в виду, я написал письмо, где изложил все, что знаю, и оставил его у приятеля. Так что если со мной что случится, он знает, куда передать письмо.

Я улыбаюсь и говорю: что-то я не понимаю. Какое письмо? Что он знает?

И Нэш поднимает жгутик из салфетки над пламенем и говорит:

– Я знаю, что ты знал о смерти соседа. Я знаю, что парень, который стоял тут за стойкой, свалился замертво, когда ты на него посмотрел, и еще четверо человек умерли, пока ты шел отсюда на работу.

Кончик бумажного жгутика потихонечку тлеет, и Нэш говорит:

– Я понимаю, что это еще ничего не доказывает, но это все-таки больше, чем есть у полиции на данный момент.

Кончик бумажного жгутика загорается крошечным язычком пламени, и Нэш говорит:

– Может, ты лучше меня объяснишься с полицией.

Язычок пламени на кончике скрученной салфетки разгорается сильнее. В баре достаточно много народа, и кто-нибудь обязательно это заметит. Как Нэш поджигает бумагу внутри помещения. Кто-нибудь обязательно это заметит и позвонит в полицию.

Я говорю, что он бредит.

Пламя все разгорается.

Бармен глядит в нашу сторону. Бумажка в руках у Нэша становится все короче.

Нэш просто сидит и наблюдает за тем, как огонь у него в руке выходит из-под контроля.

Жар от огня – у меня на губах, глаза немного слезятся от дыма.

Бармен кричит:

– Эй! Потуши сейчас же!

Нэш подносит горящую салфетку к своей бумажной тарелке.

Я хватаю его за запястье. На белом манжете его форменного халата – желтые пятна от горчицы. Кожа под манжетом – дряблая и мягкая. Я говорю: хорошо. Я говорю: только ты перестань, хорошо?

Я говорю, что он должен пообещать ничего никому не рассказывать.

И Нэш говорит, глядя на салфетку, так и горящую у него в руке:

– Да, – говорит. – Обещаю.

Глава семнадцатая

Элен подходит с бокалом вина в руке. Густой красный всплеск на самом донышке. Бокал почти пуст.

И Мона говорит:

– Где ты это взяла?

– Вино? – говорит Элен. На ней пушистая шубка из какого-то меха разных оттенков коричневого с белыми кончиками. Шубка расстегнута, и под ней – голубой костюм. Она допивает вино и говорит: – На каминной полке. Вон там, где поднос с апельсинами и какая-то бронзовая статуэтка.

Мона запускает руки в свои черные с красным дреды и сдавливает себе голову. Она говорит:

– Это *алтарь*. – Она показывает на пустой бокал и говорит: – Ты выпила мое подношение *Богине*.

Элен сует бокал Моне в руку и говорит:

– Ну так сделай *Богине* еще одно подношение, только на этот раз – двойную порцию.

Мы в квартире у Моны, где вся мебель составлена в маленьком патио за стеклянными раздвижными дверями и накрыта синей полиэтиленовой пленкой. Таким образом, и большая гостиная, где мы сейчас находимся, и смежная с ней комната-ниша абсолютно пусты. Стены и ковролин на полу – светло-бежевые. На каминной полке – поднос с апельсинами и статуэтка с изображением чего-то индусского и танцующего. Там же разбросаны желтые маргаритки и розовые гвоздики. Выключатели залеплены широким прозрачным скотчем, так что свет не включишь при всем желании. Мона расставила на полу какие-то плоские камни и облепила их свечками. Свечи белые и красные. Горят не все. В камине вместо огня – еще свечи. Струйки белого дыма поднимаются от ароматных курительных конусов, расставленных на камнях вместе со свечами.

Настоящий свет бывает только тогда, когда Мона открывает холодильник или микроволновку.

Из-за стен доносится лошадиное ржание и грохот пушек. То ли храбрая и упрямая красавица южанка пытается сдержать написк Армии Союза, которая рвется спалить квартиру соседей, то ли они смотрят фильм, врубив телевизор на полную громкость.

Из квартиры сверху доносится вой сирены и вопли, которые нам положено игнорировать. Визг шин и грохот выстрелов – нам приходится

делать вид, что это нормально. Это ненастоящее. Всего-навсего телевизор. От грохота взрывов дрожит потолок. Женщина умоляет кого-то, чтобы он ее не насиловал. Это ненастоящее. Это все понарошку. Всего-навсего фильм. Мы – цивилизация мальчиков-шутников. Мы кричим, что на стадо напали волки. А волков нет и в помине.

Эти драма-голики. Эти покое-фобы.

Мона босая, в белом махровом халате. Лак у нее на ногтях – черный. Она берет у Элен бокал, измазанный по краю розовой помадой, и уносит его на кухню.

Звонят в дверь.

Мона сначала подходит к каминной полке и ставит на нее бокал с красным вином. Она говорит:

– Не ставьте меня в неудобное положение перед моим ковеном, – и идет открывать.

На пороге стоит невысокая женщина в очках в широкой оправе из черной пластмассы. На ней – стеганые кухонные рукавички, и она держит в руках накрытую крышкой кастрюльку.

Я принес готовый салат из трех видов фасоли, купленный в ближайшей кулинарии. Элен принесла макароны из «Чешской кухни».

Женщина в очках вытирает ноги о коврик у двери. Она смотрит на Элен и на меня и говорит:

– Шелковица, у тебя гости.

Мона бьет себя по виску и говорит:

– Шелковица – это я. То есть это мое викканское имя. Шелковица. – Она говорит: – Воробей, это мистер Стрейтор.

Воробей молча кивает.

Мона говорит:

– А это моя начальница...

– Шиншилла, – говорит Элен.

Микроволновка начинает бибикать, и Мона уводит Воробя на кухню. Элен подходит к камину и отпивает вина из бокала.

Звонят в дверь. Мона кричит из кухни, чтобы мы открыли.

На этот раз – молодой человек с длинными светлыми волосами и рыжей козлиной бородкой, в спортивных штанах и футболке с длинными рукавами. В руках у него – железный котелок, накрытый стеклянной крышкой. Из-под крышки сочится какая-то липкая коричневая жижа, а сама крышка запотела изнутри. Он переступает через порог и вручает мне котелок. Снимает свои теннисные туфли, стягивает футболку через голову. Его длинные волосы рассыпаются по плечам. Он швыряет футболку на

котелок у меня в руках и снимает штаны. Штаны он тоже вручает мне и стоит, руки в боки, в чем мать родила.

Элен запахивает шубу и допивает остатки вина.

Котелок очень тяжелый. От него горячий дух. Пахнет жженым коричневым сахаром и то ли тофу, то ли грязными тренировочными штанами.

И Мона говорит:

– Устрица! – Она тоже вышла в коридор. Она забирает у меня одежду и котелок и говорит: – Устрица, это мистер Стрейтор. – Она говорит: – Все, кто не знает: это мой парень, Устрица.

Парень убирает волосы с глаз и таращится на меня. Он говорит:

– Шелковица думает, что вы знаете текст баульной песни. – Его член похож на мягкий розовый сталактит из сморщенной кожи. Крайняя плоть проколота серебряным колечком.

Элен улыбается мне, но ее зубы сжаты.

А этот парень, Устрица, хватается за отвороты Мониного халата и говорит:

– Блин, на тебе слишком много одежды. – Он наклоняется к ней и целует ее, перегнувшись через котелок.

– Мы исполняем обряд без одежды, – говорит Мона, глядя в пол. Она краснеет и указывает котелком на Элен. – Устрица, это миссис Бойль, я на нее работаю.

Подробности об Устрице: у него очень светлые волосы, они торопчатся во все стороны, как иголки на сосне, в которую ударила молния. У него тело как у подростка. Ноги и руки как будто все состоят из отдельных сегментов: массивные крепкие мышцы и узкие суставы – колени, локти, запястья.

Элен протягивает ему руку. Устрица пожимает ее и говорит:

– Кольцо с оливином...

Такой весь голый и молодой, он поднимает руку Элен повыше. Весь загорелый и мускулистый, он смотрит на ее кольцо, потом скользит взглядом по ее руке и заглядывает ей в глаза. Он говорит:

– Не всякий решится носить такой сильный камень. Страсть, заключенная в нем, подчиняет себе волю слабых. – И он припадает к нему губами.

– Мы исполняем обряд без одежды, – говорит Мона, – но вам не обязательно раздеваться. То есть *совершенно* не обязательно. – Она кивает в сторону кухни и говорит: – Устрица, пойдем – ты мне поможешь.

Уже уходя, Устрица оборачивается ко мне и говорит:

– Одежда – высшее проявление нечестности. – Он улыбается уголком рта, подмигивает и говорит: – Классный галстук, папаша.

Я считаю – раз, считаю – два, считаю – три...

Когда Мона уходит на кухню, Элен говорит мне:

– У меня в голове не укладывается, что вы все ему рассказали.

Она имеет в виду Нэша.

У меня не было выбора. К тому же он все равно не найдет текста песни. Я сказал ему, что свою книгу я сжег. И все остальные книги, которые мне удалось разыскать. Он не знает про Элен Гувер Бойль или про Мону Саббат. Он никогда не узнает, что это за стихотворение.

Из оставшихся книг еще несколько дюжин хранится в публичных библиотеках. Может быть, мы сумеем их разыскать и уничтожить страницу 27, пока будем охотиться за изначальным источником.

– «Книга теней», – говорит Элен.

Гrimuar, как его называют ведьмы. Книга заклинаний. Власть над миром, оформленная в слова.

Звонят в дверь. Еще один парень раздевается догола прямо в прихожей. Он представляется – Еж. Подробности о Еже: дряблые мышцы, отвисшая задница. После рукопожатия у меня на ладони остаются короткие черные волоски – точно такие же, какие растут у него на интимном месте.

Элен прячет руки в рукавах своей шубки. Она подходит к камину, берет с алтаря апельсин и принимается его чистить.

Приходит мужчина по имени Барсук с живым попугаем на плече. Приходит женщина по имени Ломонос. Приходит Лобелия. Лазурная птица звонит в дверь. Потом – Опоссум. Потом приходит Чечевица, или она принесла чечевицу – я так и не понял. Элен выпивает еще одно жертвеннное подношение. Мона выходит из кухни с Устрицей, но уже без халата.

В коридоре у двери остается куча грязной одежды, и мы с Элен – единственные, кто одет. Где-то в куче одежды звонит мобильный, и Воробей отрывает его, чтобы ответить. Она наклоняется над разбросанной одеждой, ее груди свисают, на ней – только очки в черной пластмассовой оправе. Она говорит в трубку:

– Псих, Полено и Пирог, юридические услуги. – Она говорит: – Можете описать вашу сырь?

Мону я узнаю только по ее красно-черной прическе и бесчисленным цепочкам на шее. Я стараюсь не особенно плятиться, куда не надо, но волосы у нее на лобке чисто выбриты. Если смотреть прямо спереди, ее бедра представляют собой два идеальных изгиба с выбритым треугольничком между ними. Если смотреть в профиль, ее груди слегка

приподняты – как будто пытаются прикоснуться к собеседнику розовыми сосками. Если смотреть сзади, у нее крепкая ладная попка, и я считаю – четыре, считаю – пять, считаю – шесть...

В руках у Устрицы – белая пластиковая коробка из кулинарии.

Женщина по имени Жимолость – из одежды на ней только хлопчатобумажный платок-бандана – рассказывает о своих прошлых жизнях.

И Элен говорит:

– А разве реинкарнация – это не просто способ оттянуть неизбежное?

Я интересуюсь, когда мы будем кушать.

И Мона говорит:

– Господи, вы прямо как мой отец.

Я спрашиваю у Элен, как ей удается держаться, чтобы не поубивать тут всех.

Она берет очередной бокал вина с каминной полки и говорит:

– Пожалуй, их стоит убить. Из милосердия. Чтобы не мучились.

Курительные палочки пахнут жасмином, а все собравшиеся в этой комнате пахнут курительными палочками.

Устрица выходит на середину комнаты, поднимает над головой коробку и говорит:

– Ладно. Кто принес эту гадость?

Это мой салат из трех видов фасоли.

А Мона говорит:

– Не надо, Устрица, очень тебя прошу.

Устрица держит коробку за ручку брезгливо, двумя пальцами. Он говорит:

– Еда без мяса означает, что в ней нет мяса. А ты, пожалуйста, помолчи. Кто принес это? – Волосы у него в подмышках ярко-рыжие. Почти оранжевые. И на лобке тоже.

Я говорю, это всего лишь салат из фасоли.

– С чем? – хмурится Устрица, потряхивая коробку.

Ни с чем. Без всего.

В комнате так тихо, что слышен шум битвы при Геттисберге из соседней квартиры. Задумчивые переборы гитары – кто-то депрессирует наверху под народную музыку. Актер орет благим матом, лев истошно ревет, бомбы с грохотом падают с неба.

– С ворчестерским соусом, – говорит Устрица. – А это значит, анчоусы. То есть мясо. То есть жестокость и смерть. – Он держит коробку в одной руке, а второй рукой указывает на нее. – Сейчас я спущу это в

унитаз, где ему самое место.

А я считаю – семь, я считаю – восемь...

Воробей раздает всем маленькие круглые камушки из плетеной корзины у нее в руке. Один камушек достается мне. Он холодный и серый, и она говорит:

– Сожмите его в руке и постараитесь настроиться на волну его энергии. Для обряда мы все должны настроиться на одну волну.

Я слышу, как в туалете спустили воду.

Попугай на плече Барсука вертит головой из стороны в сторону и дергает клювом зеленые перья. Наклоняет голову, зацепляет перо клювом, как будто кусает, и резко тянет. Кожа на месте вырванных перьев кажется пупырчатой и воспаленной. Попугай сидит на полотенце, которое Барсук положил на плечо, чтобы ему было за что уцепиться. Сзади полотенце испачкано желтоватыми пятнами – птичьим деръемом. Попугай вырывает очередное перо и деловито его глотает.

Воробей дает камень Элен, и Элен убирает его в свою голубую сумочку.

Я отбираю у нее бокал с вином и делаю глоток. Сегодня в редакции я узнал, что у человека, который умер у лифта – у человека, которому я пожелал смерти, – было трое детей, причем самому старшему нет еще и шести. Полицейский, которого я убил, содержал престарелых родителей, чтобы их не отправили в богадельню. У них с женой был приемный ребенок. Он работал еще и футбольным тренером – в детской команде. Женщина с портативной рацией была беременна. На раннем сроке.

Я отпиваю еще вина. На вкус оно напоминает розовую помаду.

Объявление в сегодняшнем номере звучит так:

**ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ
DORSETT**

В объявлении сказано: «Если после еды вас тошнит или если у вас вдруг случился понос, звоните по указанному телефону».

Устрица говорит, обращаясь ко мне:

– Мона думает, что вы убили доктора Сару, но мне кажется, что вы ни хрена не знаете.

Мона хочет поставить на каминную полку очередное жертвенное подношение, но Элен забирает бокал у нее из рук.

Устрица говорит, обращаясь ко мне:

– У вас нету власти над жизнью и смертью, разве что только тогда, когда вы заказываете в Макдоналдсе гамбургер. – Он дышит мне прямо в лицо. Он говорит: – Вы платите свои грязные деньги, а где-то совсем в другом месте топор опускается на невинное существо.

И я считаю – девять, считаю – десять...

Воробей демонстрирует мне какую-то толстую книгу. Она сама переворачивает страницы. Там – фотографии каких-то жезлов и железных котлов. Серебряных колокольчиков и кристаллов всевозможных расцветок и форм. Ритуальные ножи с черными рукоятками, они называются «атаме». Воробей показывает мне фотографии сухих трав, связанных пучками-метелками, чтобы разбрзгивать освященную воду. Она показывает мне амулеты, отполированные до зеркального блеска, чтобы отражать плохую энергию. Ритуальный нож с белой ручкой называется «боллине».

Ее груди лежат на раскрытом книжке, закрывая по полстраницы.

Устрица никак не отходит. Вены у него на шее вздуваются. Он сжимает кулаки и говорит, обращаясь ко мне:

– Знаете, почему большинство из тех, кто пережил геноцид, становятся вегетарианцами? Потому что они знают, что это такое, когда с тобой обращаются как с животным.

Он так и пытает жаром. Он говорит:

– А в курятниках-инкубаторах, где содержат несушек... вам известно, что всех птенцов мужского пола перемалывают на удобрения – заживо?

Воробей перелистывает свою книгу и говорит:

– Если сравнить наши цены с ценами других поставщиков ритуальных магических принадлежностей, то сразу понятно, что соотношение цена – качество у нас самое лучшее.

Следующее подношение Богине выпиваю я.

Следующее за ним выпивает Элен.

Устрица ходит кругами по комнате. Снова подходит ко мне и говорит:

– А вам известно, что большинство свиней не успевают умереть от потери крови, когда их топят в кипящей воде?

Следующее подношение опять выпиваю я. Вино похоже по вкусу на жасминовые курения. Оно похоже по вкусу на кровь убиенных животных.

Элен уходит на кухню с пустым бокалом. Короткая вспышка нормального настоящего света – это Элен открывает холодильник и достает кувшин с красным вином.

Устрица подходит ко мне сзади и кладет подбородок мне на плечо. Он говорит:

– Большинство коров умирает не сразу. – Он говорит: – Корове на шею

накидывают петлю и волокут ее через бойню. И отрезают ей ноги, когда она еще жива. Они очень громко кричат, коровы.

У него за спиной голая девушка по имени Морская Звезда отвечает на звонок по мобильному. Она говорит в трубку:

– «Дуля, Домбра и Дурында», юридические услуги. – Она говорит: – А какого цвета грибок?

Барсук выходит из ванной, пригибаясь, чтобы попугай не задел головой о притолоку. Кусочек туалетной бумаги прилип к его голой заднице. Его кожа кажется пупырчатой и воспаленной. Как будто из нее повыдергали все перья. Мне вовсе не интересно, сидел ли попугай у него на плече, пока он сам сидел на толчке.

В дальнем углу гостиной – Мона.

Шелковица.

Болтает о чем-то с Жимолостью, смеется. Она убрала свои черно-красные дреды в высокий небрежный пучок. Ее пальцы унизаны кольцами с большими красными стекляшками. На шее – бесчисленные цепочки с талисманами и магическими амулетами. Дешевая аляповатая бижутерия. Маленькая девочка наряжается во взрослую тетю. Она босиком.

Ей столько лет, сколько было бы сейчас моей дочке, если бы у меня была дочь.

Элен возвращается в комнату. Она слюнявит два пальца и обходит гостиную, гася курящиеся благовонные конусы влажными пальцами. Прислонившись к каминной полке, она подносит бокал вина к ядовито-розовым губам. Она смотрит поверх бокала, наблюдая за тем, что творится в комнате. Она наблюдает за тем, как Устрица кружит вокруг меня.

Ему столько лет, сколько было бы сейчас ее сыну Патрику.

Элен столько лет, сколько было бы сейчас моей жене, если бы у меня была жена.

Устрица – это сын, который был бы у Элен, если бы у нее был сын.

Гипотетически, разумеется.

Это могла бы быть моя жизнь, если бы у меня была жизнь. Моя жена – пьяная и холодная. Мы с ней давно уже чужие люди. Моя дочь увлекается оккультизмом и проводит какие-то идиотские ритуалы. Она нас стыдится, своих родителей. Ее бойфренд – вот этот хипповский придурок – пытается затеять ссору со мной, ее отцом.

Может быть, все-таки можно вернуться в прошлое.

Повернуть время вспять.

И воскресить мертвых. Всех мертвых – прошлых и нынешних.

Может быть, это мой второй шанс. Прожить жизнь заново – так, как я

только что описал, как я мог бы ее прожить.

Элен в шиншилловой щубе наблюдает за тем, как попугай поедает себя. Она наблюдает за Устрицей.

Мона кричит:

– Прошу внимания. – Она говорит: – Пора начинать Заклинание. Но сначала нам нужно создать священное пространство.

У соседей израненный ветеран Гражданской войны возвращается домой – к печальной музыке и Реконструкции.

Устрица ходит кругами вокруг меня. Камень у меня в кулаке уже теплый. Я считаю – одиннадцать, считаю – двенадцать...

Мона Саббат должна быть с нами. Нам нужен кто-то, кто не испачкал руки в крови. Мона, Элен, я и Устрица – мы вчетвером отправляемся в путь. Еще одна с виду благополучная, но совершенно несостоятельная семья. Всей семьей – в отпуск. На поиски нечестивого Граала.

Всей семьей – на сафари. Сотня бумажных тигров, которых надо убить по пути. Сотня библиотек, которые нам предстоит ограбить. Книги, которые надо разоружить. Целый мир, который надо спасти от баульных чар.

Лобелия говорит Гвоздике:

– Читала сегодня в газете про все эти смерти? Там пишут, что это похоже на болезнь легионеров, но, по-моему, это больше похоже на черную магию.

Сверкая русыми волосами в подмышках, Мона сгоняет присутствующих на середину комнаты.

Воробей тычет пальцем в свой раскрытый каталог и говорит:

– Это необходимый начальный минимум.

Устрица убирает волосы с глаз и давит мне на плечо подбородком. Потом обходит меня и тыкает указательным пальцем мне в грудь, точно по центру моего синего галстука. Давит так, что мне больно. Он говорит:

– Послушай, папаша. – Он тычет пальцем мне в грудь и говорит: – Единственное, что ты знаешь в смысле баульных песен, это: «Мне бифштекс хорошо прожаренный».

И я прекращаю считать.

Все происходит само собой. Непроизвольно, как это бывает, когда у тебя сводит ногу. Я кладу руки ему на грудь и отталкиваю от себя. Все умолкают и смотрят на нас, и баульная песня звучит у меня в голове.

Мне снова пришлось убивать. Бойфренда Моны. Сына Элен. Устрица на миг замирает и смотрит на меня из-под светлых волос, снова упавших ему на глаза.

С плеча Барсука падает попугай.

Устрица поднимает руки, растопырив пальцы, и говорит:

– Спокойно, папаша. Не горячись. – Вместе с Воробьем и остальными он идет посмотреть на мертвого попугая у ног Барсука. Мертвого и наполовину ощипанного. Барсук трогает птицу носком сандалии и говорит:

– Ты чего, Смелый?

Я смотрю на Элен.

Мою жену. Таким вот новым и извращенным способом. Пока смерть не разлучит нас.

Может быть, если есть заклинание, чтобы убить, то есть и другое – чтобы вернуть их к жизни. Тех, кого ты убил.

Элен тоже смотрит на меня. Бокал у нее в руке испачкан розовым. Она качает головой и говорит:

– Это не я. – Она поднимает три пальца, соединив на ладони большой и мизинец, и говорит: – Честное слово ведьмы.

Глава восемнадцатая

Здесь и сейчас я пишу эти строки – на подъезде к Бигз-Джсанкин, штат Орегон. Мы с Серджантом стоим на обочине шоссе I-84; рядом с нашей машиной, тут же на обочине, лежит старая меховая шуба. Шуба, щедро политая кетчупом, привлекает мух. Это наша приманка.

На этой неделе в бульварных газетах – очередное чудо.

Его называют Иисусом Задавленных Зверюшек. В бульварных газетах его называют «Мессией с шоссе I-84». Какой-то парень катается по шоссе взад-вперед, и если где-нибудь на дороге лежит мертвый зверь, сбитый машиной, он останавливается, возлагает на него руки, и – аминь. Мертвая кошка, раздавленная собака, даже олень, перерезанный надвое трактором, – они вдруг дышат и нюхают воздух. Они встают на своих перебитых лапах и моргают глазами, которые выклевали птицы.

Это записано на видео. Фотографии лежат в Интернете.

Кошка, дикобраз или койот – зверь встает, а Иисус Задавленных Зверюшек берет его голову в ладони и что-то шепчет ему на ухо.

И через две-три минуты олень, собака или енот – еще две-три минуты назад это было сплошь окровавленный мех и перебитые кости, мясо для воронов и червей – убегает к себе восвояси, живой и здоровый.

Мы с Серджантом сидим в машине. Неподалеку от нас, но все же достаточно далеко, на обочине останавливается пикап. Из машины выходит старик, открывает заднюю дверцу и достает что-то завернутое в клетчатый плед. Приседает на корточки, чтобы положить сверток на землю. Машины проносятся мимо в жарком утреннем мареве.

Стариk разворачивает плед. Там у него мертвый пес. Груда коричневой шерсти. Ничем практически не отличается от моей меховой шубы.

Серджант достает обойму из своего пистолета. Обойма заряжена полностью. Он возвращает ее на место.

Стариk наклоняется над своим мертвым псом, опираясь ладонями о горячий асфальт. Мимо проносятся легковушки и грузовики, а он трется щекой о кучку коричневой шерсти.

Он встает и оглядывает шоссе в обе стороны. Садится обратно в машину и прикуривает сигарету. Он ждет.

Мы с Серджантом сидим в машине, мы ждем.

Вот мы здесь, с опозданием на неделю. Всегда отставая на шаг.

Задним числом.

Первые, кто столкнулся с Иисусом Задавленных Зверюшеч, были дорожные рабочие, которые, когда перекладывали асфальт, откопали мертвую собаку в нескольких милях отсюда. Не успели они запихнуть труп в мешок, чтобы закопать в ближайшем лесочке, как к ним подъехала машина из проката автомобилей. Подъехала и остановилась. В машине сидели мужчина и женщина, мужчина был за рулем. Женщина осталась в машине, а мужчина выскочил и побежал к рабочим. Он крикнул им: погодите. Сказал, что он может помочь.

Труп уже разлагался — мешок окровавленной шерсти, кишащий червями.

Мужчина был молодой, светловолосый. Его длинные волосы развевались на ветру всякий раз, когда мимо проносилась машина. У него была рыжая козлиная бородка и шрамы на обеих щеках, под глазами. Шрамы были ярко-красными, и молодой человек запустил руку в мусорный мешок, где лежала мертвая собака, и сказал, что она никакая не мертвая.

Рабочие рассмеялись. И закинули лопату обратно в кузов.

Мешок зашевелился, и внутри кто-то тихонечко застонал.

А потом залаял.

И вот — здесь и сейчас. Я пишу эти строки, а стариk ждет у себя в машине, неподалеку от нас, но все же достаточно далеко. Мимо проносятся легковушки и грузовики. На той стороне шоссе останавливается «универсал». Они приехали всей семьей. Они открывают багажник, и внутри — мертвая рыжая кошка. Чуть подальше — женщина с ребенком сидят у обочины на раскладных стульях, а рядом с ними, на бумажном полотенце, лежит хомячок.

Еще дальше — пожилая пара. Они стоят, держа зонтик от солнца над молодой женщиной, обмякшей в инвалидной коляске.

Стариk, мать с ребенком, семейство в «универсале» и пожилая пара — все с надеждой вглядываются в машины, которые проносятся мимо.

Иисус Задавленных Зверюшеч появляется каждый раз на новой машине: двухдверной, четырехдверной или в пикапе. Иногда он приезжает на мотоцикле. Однажды приехал в машине с жилем прицепом.

На фотографиях и на видео — это всегда молодой человек с длинными светлыми волосами, рыжей козлиной бородкой и шрамами на щеках. Один и тот же молодой человек. С ним всегда приезжает женщина, но она никогда не выходит из машины.

Пока я пишу эти строки, Сержант целился в нашу шубу. Старая меховая шуба. Кетчуп и муhi. Наша приманка. Как и все остальные, мы

здесь ждем чуда. Мы ждем мессию.

Глава девятнадцатая

Едем в машине. Все, что снаружи, – желтое. Желтое до самого горизонта. Но не лимонно-желтое, а желтое, как теннисный мячик. Как желтый теннисный мячик на ярко-зеленом корте. Мир по обеим сторонам шоссе – одного цвета.

Желтого.

Вздымаются, пенятся волны желтого, расходятся рябью под порывами горячего ветра от проносящихся мимо машин, плещутся через гравиевые обочины и бегут к желтым холмам. Желтые. Светят желтым в машину. Нас четверо: я, Элен, Мона и Устрица. Наша кожа и наши глаза – все желтое. Подробности об окружающем мире. Он желтый.

– *Brassica tournefortii*, – говорит Устрица. – Марокканская горчица в цвету.

Мы едем в машине Элен, где пахнет горячей кожей. Элен за рулем. Я сижу впереди, рядом с ней. Устрица с Моной – на заднем сиденье. На сиденье между нами – между мной и Элен – лежит ее ежедневник. Красный кожаный переплет липнет к коричневой коже сиденья. Атлас автомобильных дорог США. Компьютерная распечатка списка всех городов, где в библиотеках есть книжка, которая нам нужна. В желтом свете синяя сумочка Элен кажется зеленою.

– Как же красиво. Я бы все отдала, чтобы быть индианкой. – Мона смотрит в окно, прислонившись лбом к стеклу. – Родиться в племени черногоных или сиу лет двести назад... родиться свободной и просто жить в полной гармонии с природой. В мире, где все натуральное.

Я тоже смотрю в окно, прижавшись лбом к стеклу. Мне интересно, что там такого красивого видит Мона. В машине работает кондиционер, но стекло – обжигающее горячее.

Странное совпадение, но в атласе автомобильных дорог весь штат Калифорния раскрашен точно таким же ярко-желтым цветом.

Устрица громко сморкается, фыркает и говорит Моне:

– Индейцы этого не видели.

Он говорит, у ковбоев не было перекати-поля. Перекати-поле – русский чертополох – появилось в Америке только в конце девятнадцатого века. Семена завезли из Евразии на шерсти овец. Семена марокканской горчицы завезли вместе с землей, которую использовали как балласт на парусных судах. Те серебристые деревья – это лох узколистный, *elaegnus*

augustifolia. Эта белая пушистая травка, похожая на кроличьи уши, что растет вдоль обочины, – *verbascum thapsus*, царский скипетр, или коровяк высокий. Искореженные черные деревья, которые мы проехали только что, – *robina pseudoacacia*, робиния лжеакация, или белая акация. Темно-зеленый кустарник с ярко-желтыми цветами – ракитник метельчатый, *cytisus scoparius*.

Это все проявления биологический пандемии, говорит он.

– Все эти старые голливудские вестерны, – говорит Устрица, глядя в окно на просторы Невады, примыкающие к шоссе, – с перекати-поле, костром кровельным и другими растениями-травами. – Он говорит, качая головой: – Изначально их на континенте не было. Но это все, что у нас осталось. – Он говорит: – Сейчас в природе не осталось почти ничего натурального.

Устрица колотит по спинке моего сиденья:

– Эй, папаша. Какая в Неваде самая крупная ежедневная газета?
«Рено», говорю. Или «Вегас»?

Устрица смотрит в окно, и в отраженном свете его глаза кажутся желтыми. Он говорит:

– И та, и та. И еще «Карсон-Сити». Все три.

Я говорю, ага. И «Карсон-Сити» тоже.

Леса вдоль западного побережья задыхаются от метельчатого ракитника, от ракитника стелющегося, от плюща и ежевики, говорит он. Все эти растения завезли сюда из Старого Света. Исконные деревья гибнут от шелкопряда непарного, завезенного в Америку в 1860 году Леопольдом Трувело, который хотел разводить их для шелка. Пустыни и прерии задыхаются от горчицы, костра кровельного и песколюба песчаного.

Устрица расстегивает рубашку, и на груди у него висит какой-то бисерный кошечек. На шнурке, унизанном бусами.

– Мешочек для талисманов индейцев хопи, – говорит он.

Элен смотрит на него в зеркало заднего вида. Ее руки лежат на руле. На руках – облегающие перчатки из телячьей кожи. Она говорит:

– Симпатичная штучка.

Устрица снимает рубашку с плеч. Бисерный мешочек висит у него на груди как раз между сосками. На загорелой груди нет ни единого волоска. Мешочек сплетен из синего бисера с красным крестом в центре. В желтом свете его загар кажется оранжевым. Его светлые волосы словно охвачены пламенем.

– Я сама его сделала, – говорит Мона. – Долго делала, с февраля.

Мона с ее черно-красными дредами и бусами из горного хрусталя. Я

интересуюсь: она что, индианка из племени хопи?

Устрица открывает мешочек и роется пальцами в содержимом.

А Элен говорит:

– Мона, какая ты индианка?! Ты вообще непонятно кто. Твоя настоящая фамилия – Штейнер.

– Вовсе не обязательно быть хопи, – говорит Мона. – Я его сделала по картинке из книжки.

– Значит, это не настоящий мешочек для талисманов хопи, – говорит Элен.

А Мона говорит:

– Нет, настоящий. Он – точно такой же, как в книжке. – Она говорит: – Я тебе покажу.

Из мешочка хопи Устрица достает мобильный.

– Самое замечательное в этих народных промыслах, они не требуют каких-то особых умений. Смотришь программу по телевизору, где тебе объясняют, как что-то делать, и сразу же делаешь, – говорит Мона. – И при этом соприкасаешься с древними энергиями.

Устрица выдвигает антенну и набирает номер. У него под ногтями грязь.

Элен наблюдает за ним в зеркало заднего вида.

Мона наклоняется вперед и поднимает с пола под сиденьем брезентовый рюкзак. Вынимает оттуда какой-то спутанный клубок из веревок и перьев. Похоже на куриные перья, раскрашенные в яркие пасхальные цвета – розовый и голубой. На веревках висят медные монетки и бусины из черного стекла.

– Это ловец снов индейцев навахо, – поясняет она, встряхивая клубок. Некоторые веревки распутываются и свисают свободными концами. Несколько бусин падает в рюкзак у нее на коленях. Розовые перья разлетаются по салону, и она говорит: – Я думаю использовать монеты И-Цзын. Чтобы усилить энергетику.

Под рюкзаком, под цветастой юбкой – ее лобок гладко выбрит. Стеклянные бусины скатываются туда.

Устрица говорит в трубку:

– Да, мне нужен номер отдела рекламы «Карсон-Сити Телеграф-Стар».

У него перед лицом проплывает розовое перышко, и он дует на него, отгоняя.

Мона подцепляет несколько узелков своими черными ногтями и говорит:

– Это немного сложнее, чем описано в книжке.

Одной рукой Устрица держит трубку у уха, второй – поглаживает бисерный мешочек у себя на груди.

Мона достает из рюкзака какую-то книжку и передает ее мне.

Устрица замечает, что Элен наблюдает за ним в зеркало заднего вида, подмигивает ей и щиплет себя за сосок.

Совершенно без всякой связи мне вспоминается царь Эдип.

Его член похож на мягкий розовый сталактит из сморщенной кожи. Крайняя плоть проколота серебряным колечком. Неужели Элен на такое польстится?

– В прежние времена фермеры сажали костер кровельный, потому что он зеленеет уже ранней весной – чтобы был корм скоту, – говорит Устрица, кивая на желтый мир за окном.

Первые участки, засеянные костром кровельным, появились на юге Британской Колумбии, в Канаде, в 1889 году. Но из-за пожаров он распространился. Каждый год эта трава высыхает в пыль, и теперь в тех местах, где пожары случались раз в десять лет, они случаются ежегодно. Костер кровельный восстанавливается очень быстро. Он любит огонь. А исконные растения, полынь и флоксы, – они не любят. И каждый год после пожара костра кровельного становится все больше, а других растений все меньше. Олени и антилопы, которые питались этими другими растениями, либо вымерли, либо ушли на другие территории. И кролики тоже. И хищные птицы и совы, которые кроликами питаются. Мыши вымирают от голода, а значит, и змеи, которые питаются мышами, тоже.

В настоящее время костер кровельный является доминирующим растением внутриматериковых пустынь от Канады до Невады, он уже покрывает пространство размером в две Небраски и распространяется на тысячи акров ежегодно.

Но самое смешное, говорит Устрица, что домашний скот не ест этот самый костер кровельный. Коровы предпочитают обыкновенную траву. Которая еще осталась.

Монина книжка называется «Прикладное искусство американских индейцев». Когда я ее открываю, еще несколько розовых и голубых перьев вылетает наружу.

– Теперь у меня главная мечта в жизни – найти по-настоящему прямое дерево, – говорит Мона. У нее в дредах застряло розовое перо. – И сделать тотемный столб или что-нибудь в этом роде.

– Если смотреть в перспективе исконных растений, – говорит Устрица, – то Джонни Эплсид был злобучим биологическим террористом.

Он говорит, что Джонни Эпплсид мог бы и оспу распространять с тем же успехом.

Устрица набирает еще один номер и подносит телефон к уху. Он колотит по спинке переднего сиденья и говорит:

– Мам, пап? Какой самый шикарный ресторан в Рено?

Элен пожимает плечами и смотрит на меня. Она говорит:

– «Пустынное небо» в Тахое – очень милое место.

Устрица говорит в трубку:

– Хочу поместить у вас объявление шириной в три колонки. – Он смотрит в окно и говорит: – Шириной в три колонки и высотой в шесть дюймов. Заголовок большими буквами: «Вниманию клиентов ресторана «Пустынное небо».

Устрица говорит:

– Текст объявления такой: «После обеда в указанном ресторане вам пришлось лечь в больницу с острым пищевым отравлением? Если так, то звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд».

Устрица называет номер телефона. Выуживает из мешочка для талисманов кредитную карточку и зачитывает ее номер и дату, до которой она действительна. Он просит, чтобы ему перезвонили, когда объявление будет набрано, чтобы сверить окончательный текст. Он говорит, что объявление должно появляться каждый день на протяжении всей следующей недели в разделе ресторанный критики. Он закрывает крышку на телефоне и убирает антенну.

– Сколько коренных американцев погибло от болезней, завезенных из Старого Света, от желтой лихорадки и оспы, – говорит Устрица. – И растения тоже гибнут. В 1930 году, с грузом бревен для мельницы, сюда из Голландии завезли болезнь, поражающую деревья, в частности вязы. В 1904-м – болезнь, поражающую каштаны. Патогенный грибок, поражающий вязы. Экологи опасаются, что азиатские жуки-древосеки, которые появились в Нью-Йорке в 1996-м, в скором времени уничтожат все пенсильванские клены.

Для контроля над популяцией луговых собачек, говорит Устрица, фермеры заразили колонии этих животных бубонной чумой, и к 1930 году вымерло 98 процентов всех луговых собачек. От чумы также погибло еще 34 вида коренных грызунов. И каждый год от нее умирает несколько человек, кому особенно «повезет».

Совершенно без всякой связи на ум приходит баюльная песня.

– А вот мне, – говорит Мона, и я возвращаю ей книгу, – мне нравятся

древние традиции. Знаете, как я вижу нашу поездку? Как мой личный духовный поиск. Я приму новое индейское имя, — говорит она, — и полностью преобразуюсь.

Устрица достает сигарету из своего хопи-мешочка и говорит:

— Ничего, если я закурю?

И я говорю: очень даже чего.

А Элен говорит:

— Ничего.

Это ее машина.

И я считаю — раз, я считаю — два, я считаю — три...

То, что мы называем природой, говорит Устрица, это мир, который мы убиваем и который скоро начнет убивать нас. Каждый одуванчик — это бомба с уже включившимся часовым механизмом. Биологическое загрязнение. Симпатичное желтое опустошение.

Поезжайте в Париж или в Пекин, говорит Устрица, везде — гамбургер из Макдоналдса, экологический эквивалент привилегированной формы жизни. Все города, все места на Земле — одинаковые. Пуэрария. Мидии. Водяной гиант. Скворцы. Бургер-Кинг.

А все, что есть настоящего и исконного, все, что есть уникального, — все методично искореняется.

— Единственное, что у нас останется в плане биологического разнообразия, — говорит он, — это кока против пепси.

Он говорит:

— Мы пытаемся изменить мир, совершая при этом ошибку за ошибкой.

Глядя в окно, Устрица достает пластмассовую зажигалку из своего бисерного мешочка. Встряхивает ее в руке, бьет о ладонь.

Я нюхаю розовое перышко из книги и представляю, что волосы Моны пахнут точно так же. Вертя перышко двумя пальцами, я спрашиваю у Устрицы, когда он звонил в газету и давал объявление, зачем ему это надо?

Устрица прикуривает сигарету. Убирает мобильный и зажигалку обратно в бисерный мешочек.

— Он так зарабатывает на жизнь, — говорит Мона. Она распутывает узелки на своем ловце снов. Под ее яркой оранжевой блузкой набухают маленькие розовые соски.

Я считаю — четыре, считаю — пять, считаю — шесть...

Держа сигарету в зубах, Устрица застегивает рубашку обеими руками. Он щурится на дым и говорит:

— Помнишь Джонни Эплсида?

Элен вертит ручку кондиционера, прибавляя мощность.

Устрица застегивает последнюю пуговицу и говорит:

– Не волнуйся, папаша. Я просто сею свои семена.

Глядя на желтый мир желтыми же глазами, он говорит:

– Просто это мое поколение пытается уничтожить существующую культуру, распространяя свои болезни.

Глава двадцатая

Женщина открывает дверь. Мы с Элен стоим на крыльце. У меня в руках – огромная косметичка Элен, скорее даже не косметичка, а такой маленький чемоданчик. Элен тычет в женщину пальцем с длинным розовым ногтем и говорит:

– Если вы мне дадите пятнадцать минут, вы получите совершенно новую себя.

Сегодня Элен во всем красном, но это не землянично-красный. Скорее он красный, как земляничный мусс со взбитыми сливками, сервированный в вазочке из матового хрустала. Во взбитом облаке розовых волос ее сережки мерцают розовым и красным.

Женщина вытирает руки кухонным полотенцем. Она обута в мужские коричневые мокасины на босу ногу. На ней – фартук в желтых цыплятках и какое-то неприметное платье. Она убирает волосы со лба тыльной стороной ладони. Цыплята на фартуке держат в клювах кухонные полотенца, ложки и черпаки. Глядя на нас сквозь ржавую сетку на второй двери, женщина говорит:

– Что?

Элен оборачивается ко мне. Потом смотрит на нашу машину, припаркованную у тротуара. Мона с Устрицей – они ждут в машине – пригнулись, чтобы их не было видно с крыльца. Устрица шепчет в трубку мобильного телефона:

– А зуд постоянный или периодический?

Элен Гувер Бойль кладет руку на грудь. Ее шелковой блузки почти не видно за спутанными цепями с розовыми камнями и жемчугом. Она говорит:

– Миссис Пелсон? Мы из «Волшебного макияжа».

Элен протягивает руку вперед и раскрывает ладонь, как будто разбрасывает слова.

Она говорит:

– Меня зовут Бренда Уильямс. – Она машет рукой назад, как будто забрасывает слова за плечо. – А это мой муж, Роберт Уильямс. – Она говорит: – И сегодня у нас для вас есть подарок.

Женщина смотрит на косметичку у меня в руке.

И Элен говорит:

– Нам можно войти?

Мне казалось, что все будет проще.

Вся эта затея: входишь в библиотеку, берешь книгу с полки, идешь в туалет и вырываешь страницу. Спускаешь воду в унитазе. Я думал, что так все и будет. Легко и просто.

Две первые библиотеки – никаких проблем. В третьей книги на полке не оказалось. Мы с Моной пошли расспрашивать библиотекаря. Элен с Устрицей ждали в машине.

Библиотекарь – парень с длинными волосами, собранными в хвост. С серьгами в обоих ушах. Такие пиратские кольца. Пиджак из шотландки. Он говорит, что книжка – он проверяет компьютерную базу данных – сейчас на руках.

– Это действительно очень важно, – говорит Мона. – Я брала эту книгу до этого и оставила кое-что между страниц.

Ничем не могу помочь, говорит парень.

– А у кого сейчас книжка, не скажете? – говорит Мона.

И он говорит: извините. Ничем не могу вам помочь.

А я считаю – раз, я считаю – два, я считаю – три...

Конечно, каждому хочется хоть ненадолго стать Богом, но для меня – это работа на полный рабочий день.

Я считаю – четыре, считаю – пять...

Через пару минут у столика библиотекаря появляется Элен Гувер Бойль. Она улыбается, пока парень не отрывается от своего компьютера, и разводит руками с кольцами на всех пальцах.

Она улыбается и говорит:

– Молодой человек. Моя дочь брала у вас в библиотеке книжку и забыла в ней старую семейную фотографию. – Она трет большим пальцем по указательному и среднему и говорит: – Я понимаю, у вас тут свои правила, но вы можете сделать доброе дело и не за просто так.

Он смотрит на ее пальцы, у него на лице пляшут радужные отблески преломленного света. Он облизывает губы. Но потом все-таки говорит: нет. Оно того не стоит. Человек, который взял книжку, может пожаловаться начальству, и тогда его уволят с работы.

– Мы обещаем, – говорит Элен, – вас никто не уволит.

Мы с Моной сидим в машине. Я считаю – 27, считаю – 28, считаю – 29... я изо всех сил пытаюсь сдержать себя, чтобы не поубивать всех в этой библиотеке и не посмотреть адрес в компьютере самому.

Элен возвращается с листочком бумаги в руках. Она наклоняется к открытому окошку у водительского сиденья и говорит:

– Есть хорошая новость, и есть плохая.

Мона с Устрицей валяются на заднем сиденье. При появлении Элен они садятся. Я сижу впереди и считаю. И Мона говорит:

– У них три экземпляра, и они все на руках.

Элен садится за руль и говорит:

– Я знаю миллион способов, как найти оптовых покупателей среди незнакомых людей.

Устрица убирает волосы с глаз и говорит:

– Отлично сработано, мамочка.

В первом доме все было просто. И во втором тоже.

Прежде чем ехать к третьему, Элен тщательно перебирает содержимое своей косметички – позолоченные тюбики помады и яркие коробочки. Она открывает розовую помаду, щурится на нее и говорит:

– Придется все это выбросить. Если я не ошибаюсь, то у последней тетки был стригущий лишай.

Мона наклоняется вперед и говорит Элен:

– У тебя замечательно получается, правда.

Элен открывает круглые коробочки с тенями для век: коричневые, розовые и персиковые. Она внимательно их рассматривает и даже нюхает. Она говорит:

– У меня большой опыт.

Она смотрится в зеркало заднего вида и поправляет прическу. Сматривает на часы, щиплет себя за подбородок и говорит:

– Наверное, мне не стоит вам этого говорить, но я раньше работала продавцом-консультантом в косметической фирме.

Мы припарковали машину у проржавелого живого трейлера на квадратной площадке пожухлой травы, усыпанной пластмассовыми детскими игрушками. Элен закрывает свою косметичку. Сматривает на меня и говорит:

– Готов повторить?

Уже внутри трейлера Элен говорит хозяйке в фартуке с цыплятами:

– Это абсолютно бесплатно, и вы ничего не обязаны покупать. – Она подталкивает женщину на диван.

Сама Элен садится напротив, так близко, что их колени почти соприкасаются, и проводит ей по лицу мягкой кисточкой для румян. Она говорит:

– Втяните щеки, голубушка.

Одной рукой она хватает хозяйку за волосы и поднимает прядь вертикально вверх. Волосы у хозяйки светлые, с темно-русыми корнями. Свободной рукой Элен быстро начесывает прядь гребешком и укладывает

ее в художественном беспорядке, так что волосы получаются разной длины. Она берет еще одну прядь и делает то же самое. Потом подправляет прическу расческой, так что голова хозяйки теперь представляет собой взбитое облако светлых волос. Темных корней совершенно не видно.

И я говорю: так вот как ты это делаешь.

Прическа получилась в точности как у Элен, только не розовая, а белая.

На журнальном столике перед диваном – большой букет роз и лилий, но цветы давно увяли и побурели. Букет стоит в вазе зеленого стекла, но воды – только на донышке. Причем вода уже черная. На обеденном столе в кухне – тоже цветы. И тоже – увядшие. В протухшей вонючей воде. На полу вдоль дальней стены гостиной – еще несколько ваз с цветами. Пожухлая зелень, сморщеные увядшие розы и черные гвоздики, покрытые сероватым налетом плесени. В каждый букет воткнута маленькая картонная карточка со словами: «Наши искренние соболезнования».

И Элен говорит:

– Теперь закройте глаза руками.

Она щедро опрыскивает голову хозяйки лаком для волос.

Хозяйка сидит, слегка наклонившись вперед и прижимая ладони к лицу.

Элен указывает кивком в дальний конец трейлера, где есть еще несколько комнат.

Я встаю и иду.

Элен открывает тушь для ресниц и говорит:

– Можно мой муж сходит у вас в туалет? – Она говорит: – А теперь посмотрите вверх, голубушка.

На полу в ванной – кучи грязного белья и одежды, разобранной по цветам. Белая. Цветная. Чьи-то футболки и джинсы, испачканые машинным маслом. Полотенца, простыни и лифчики. Скатерть в красную клетку. Я спускаю воду в унитазе. Для звуковой маскировки.

Никаких пеленок или детской одежды.

В гостиной хозяйка в цыплятках все еще смотрит вверх, в потолок, только теперь она как-то странно дышит – судорожно и часто. Грудь под фартуком трясется. Элен вытирает бумажной салфеткой расплывшийся макияж. Салфетка мокрая и черная от потекшей туши. И Элен говорит:

– Пройдет время, Ронда, и вам станет легче. Сейчас вы в это не верите, но так будет. – Она берет очередную салфетку. – Надо только поверить, что вы сумеете это вынести, что вы сильная. Думайте о себе как о сильной женщине.

Она говорит:

– Вы еще молодая, Ронда. Вернитесь в школу, получите профессию, обратите боль в деньги.

Женщина с цыплятками, Ронда, по-прежнему плачет, глядя в потолок.

За ванной – две спальни. В одной – кровать с водяным матрасом. В другой – детская кроватка с игрушкой-мобилем в виде пластмассовых маргариток. Белый комод с выдвижными ящиками. Кроватка пустая. Прорезиненный матрасик свернут в рулон и лежит в изголовье. На стуле рядом с кроваткой – стопка книг. «*Стихи и потешки со всего света*» – на самом верху.

Я кладу ее на комод, и она открывается на странице 27.

Пробегаю острием английской булавки вдоль корешка – делаю маленькие проколы, чтобы было удобнее вырвать страницу. Вырываю, прячу в карман, кладу книгу на место.

В гостиной – вся косметика свалена в кучу на полу.

Элен вынула из косметички фальшивое дно. Под ним – браслеты и ожерелья, большие броши и серьги, скрепленные попарно. Россынь зеленых, желтых, красных и синих камней в переливах света. Драгоценности. Элен держит в руках длинное ожерелье из красных и желтых камней, каждый – размером с ее розовый ноготь, если не больше.

– У хороших бриллиантов должна быть такая огранка, – говорит Элен, – чтобы свет не проникал сквозь грани в нижней половине камня. – Она сует ожерелье хозяйке в руки и говорит: – В рубинах... оксид алюминия... посторонние вкрапления в камне, называется «рутиловые включения», придают камню мягкий розоватый оттенок, если только ювелир не обработает камень высокой температурой.

Хороший способ забыть о целом – пристально рассмотреть детали.

Две женщины сидят так близко друг к другу, что их колени соприкасаются. И головы тоже – почти. Женщина в цыплятках уже не плачет.

У нее на глазу – ювелирная лупа.

Мертвые цветы отодвинуты в сторону, и весь столик завален искрящимися розовыми камнями и золотом, прохладным белым жемчугом и синей ляпис-лазурью. Мерцание желтого и оранжевого. Мягкое матовое серебро и ослепительно белые отсветы.

Элен держит в ладони зеленый камень размером с яйцо. Он такой яркий, что лица обеих женщин кажутся зеленоватыми в отраженном свете.

– Это искусственный изумруд. Видите, там внутри как бы крапинки? В настоящих камнях их нет.

Женщина внимательно смотрит сквозь лупу и кивает головой.

И Элен говорит:

– Я не хочу, чтобы вы обожглись, как я. – Она запускает руку в косметичку и достает что-то желтое и блестящее. – Эта сапфировая брошь принадлежала известной киноактрисе, Наташе Врен. – Она вынимает из косметички кулон в виде розового сердца в обрамлении маленьких бриллиантиков. – Этот берилловый кулон в семьсот каратов когда-то принадлежал румынской королеве Марии.

Я уже знаю, что она скажет, Элен. В этой куче дорогих украшений, говорит она, живут духи давно уже мертвых людей, всех прежних владельцев. Всех, кто мог себе это позволить. Где теперь их таланты, ум и красота? Их пережил этот декоративный мусор. Богатство, успех, положение в обществе – все, что олицетворяли собой эти камни, – где все это теперь?

С одинаковой прической и макияжем, эти две женщины, сидящие рядом, могли бы быть сестрами. Или мамой и дочкой. *До и после*. Прошлое и будущее.

И это еще не все. Но обо всем остальном – когда мы вернемся в машину.

Мона на заднем сиденье говорит:

– Ну что, нашли?

И я говорю: да. Но этой женщине это уже не поможет.

Все, что она от нас получила: это роскошная прическа и, может быть, стригущий лишай.

Устрица говорит:

– Покажи нам, что это за песня. Ради чего мы катаемся по стране.

И я говорю: ни хрена. Я запихиваю вырванную страницу в рот и жую. Ужасно болит нога, и я снимаю ботинок. Я продолжаю жевать. Мона засыпает. Я продолжаю жевать. Устрица смотрит в окно на какие-то сорняки на пустыре.

Я глотаю прожеванную бумагу и засыпаю тоже.

Я просыпаюсь уже в дороге. На пути в следующий город, в следующую библиотеку, может быть, к следующему «Волшебному макияжу». Я просыпаюсь, и выясняется, что мы проехали уже триста миль.

На улице почти стемнело. Элен говорит, глядя прямо перед собой:

– Я слежу за расходами.

Мона садится и чешет голову, запустив обе руки в дреды. Потом прижимает пальцем внутренний уголок глаза и снимает натекшую слизь. Вытирает палец о джинсы и говорит:

– Где будем ужинать?

Я говорю Моне, чтобы она пристегнулась.

Элен включает фары. Кладет на руль руку, вытянув пальцы, и пристально смотрит на свои кольца. Она говорит:

– Когда мы найдем «Книгу теней», когда получим полную власть над миром, когда станем бессмертными, и у нас будет все, и все нас будут любить, – говорит она, – вы все равно останетесь мне должны двести долларов за косметику.

Она выглядит как-то не так. У нее что-то не то с волосами. Ее серьги. Серьги с большими розовыми и красными камнями, сапфирами и рубинами. Их нет.

Глава двадцать первая

Конечно, это была не одна ночь. Просто по ощущениям все ночи слились в одну. Каждая ночь. Пересекая Неваду и Калифорнию, Техас, Аризону, Орегон, Вашингтон, Айдахо и Монтану. Они одинаковые, все ночи, когда ты в дороге. И поэтому кажется, будто ночь – одна.

В темноте все города и места – одинаковые.

– Мой сын Патрик, он не умер, – говорит Элен Гувер Бойль.

Он умер. Я видел запись о смерти в окружном архиве. Но я молчу.

Элен сидит за рулем. Мона и Устрица спят на заднем сиденье. Спят или слушают наш разговор. Я сижу рядом с Элен на пассажирском сиденье. Я прижимаюсь к дверце, чтобы быть как можно дальше от Элен. Я положил руку под голову и слушаю, не глядя на Элен.

А Элен говорит, не глядя на меня. Мы оба смотрим прямо перед собой, на дорогу, освещенную светом фар.

– Патрик в больнице «Новый континуум», – говорит она. – И я верю, что когда-нибудь он поправится.

На сиденье между нами лежит ее ежедневник в красном кожаном переплете.

Пересекая Северную Дакоту и Миннесоту. Я спрашиваю у Элен, как она узнала про баюльные чары.

Своим розовым ногтем она нажимает какую-то кнопку – включает систему автоматического регулирования скорости. Потом нажимает еще одну кнопку и включает дальний свет вместо ближнего.

– Я работала продавцом-консультантом в «Skin Tone Cosmetics», – говорит она. – Мы тогда жили в кошмарном трейлере, – говорит она. – Мы с мужем.

Его звали Джон Бойль. Я видел запись о смерти в окружном архиве.

– Ты знаешь, как это бывает, когда рождается первый ребенок, – говорит она. – Друзья и знакомые тоннами тащат подарки, игрушки и книжки. Я даже не знаю, кто именно подарил эту книжку. Просто еще одна книжка в куче других.

Согласно записям в окружном архиве, это случилось лет двадцать назад.

– Тебе не надо рассказывать, что случилось, ты и сам все понимаешь, – говорит она. – Но Джон всегда думал, что это я виновата.

Согласно записям в полицейском досье, в течение месяца после смерти

Патрика Раймонда Бойля, шести месяцев от роду, соседи шесть раз вызывали полицию по поводу нарушения общественного порядка – шумных домашних ссор в трейлере Бойлев (место 175 в парке жилых фургонов «Буена-Ноче»).

Пересекая Висконсин и Небраску.

Элен говорит:

– Я искала оптовых покупателей для «Skin Tone Cosmetics» и просто ходила по домам, рекламируя наши товары. – Она говорит: – Я не сразу вернулась на работу. Прошло, наверное, полтора года после того, как Патрик… как мы увидели Патрика в то утро.

Она ходила по домам, рассказывает мне Элен, и встретила молодую женщину. Такую же, как и та – в фартуке с цыплятами. Все было так же. Те же цветы с похорон. Та же пустая детская кроватка.

– Я зарабатывала очень неплохо, только на продаже тональных кремов и маскирующих карандашей, – говорит Элен, улыбаясь. – И особенно в конце месяца, когда деньги заканчивались.

Тогда, двадцать лет назад, той женщине было столько же лет, сколько и самой Элен. Они разговорились. Женщина показала Элен детскую. Показала фотографии ребенка. Женщину звали Синтия Мур. У нее был фингал под глазом.

– И я обратила внимание, что у них была та же книжка, – говорит Элен. – «*Стихи и потешки со всего света*».

Она так и осталась открытой на той же странице, какую они прочитали ребенку последней. В тот вечер, когда он умер. Они все остались, как было. Белье в кроватке. Открытую книжку.

– И это, как ты уже понял, была та же страница, что и у нас, – говорит Элен.

Джон Бойль каждый вечер наливался пивом. Он говорил, что не хочет другого ребенка, потому что он не доверяет Элен. Если она не знает, что она сделала не так, то не стоит рисковать.

Я касаюсь рукой нагретого кожаного сиденья, и ощущение такое, как будто ты прикасаешься к человеку, к его живой коже.

Пересекая Колорадо, Канзас и Миссури.

Она говорит:

– Та женщина, у которой тоже умер ребенок… однажды она устроила дворовую распродажу. Все детские вещи. Они разложили их на лужайке и продавали за двадцать пять центов за штуку. Книжка тоже была, и я ее купила, – говорит Элен. – Я спросила у парня, который сидел при вещах, почему Синтия все распродает, но он только пожал плечами.

Согласно записям в окружном архиве, Синтия Мур выпила жидкость для прочистки водопроводных труб и умерла от внутреннего кровоизлияния в пищевод и удушья через три месяца после того, как ее ребенок умер безо всякой видимой причины.

– Джон боялся, что это было что-то заразное, и сжег все вещи Патрика, – говорит она. – Я купила книжку за десять центов. Я помню, погода в тот день была замечательная.

Согласно записям в полицейском досье, соседи еще три раза вызывали полицию по поводу нарушения общественного порядка – шумных домашних ссор в трейлере Бойлев (место 175 в парке жилых фургонов «Буена-Ноче»). А через неделю после самоубийства Синтии Мур умер Джон Бойль. Безо всякой очевидной причины. Согласно записям в протоколе вскрытия, концентрация алкоголя у него в крови могла послужить причиной остановки дыхания во сне. Также это могло быть позиционное удушье – он напился до беспомощности и свалился на кровать в таком положении, что закрыл себе рот и нос. В любом случае никаких следов и отметин на теле не обнаружилось. В свидетельстве о смерти записано: причина не установлена.

Пересекая Иллинойс, Индиану и Огайо.

Элен говорит:

– Я не нарочно убила Джона. – Она говорит: – Мне просто хотелось проверить.

Точно так же, как мне – с Дунканом.

– Я проверяла свою догадку, – говорит она. – Джон все твердил, что душа Патрика по-прежнему с нами. А я все твердила, что Патрик жив, что он в больнице.

Она говорит: и теперь, двадцать лет спустя, шестимесячный Патрик по-прежнему там, в больнице.

Звучит как полнейший бред. Но я молчу. Не могу себе даже представить, как может выглядеть младенец после двадцатилетнего пребывания в коме, со всеми этими капельницами и трубками.

Мне представляется Устрица. С внутривенным кормлением и катетером на всю жизнь.

Убить тех, кого любишь, это не самое страшное. Есть вещи страшнее.

На заднем сиденье: Мона садится и потягивается. Она говорит:

– В Древней Греции самые сильные проклятия записывали гвоздями от затонувших кораблей. – Она говорит: – Моряки, погибшие в море... их нельзя было похоронить, как положено. Древние греки знали, что мертвые, которых не похоронили, как должно, становятся самыми беспокойными и

самыми вредными духами с неуемной страстью к разрушению.

А Элен говорит:

– Заткнись.

Пересекая Западную Вирджинию, Пенсильванию, Нью-Йорк.

Элен говорит:

– Ненавижу людей, которые утверждают, что они видят духов. – Она говорит: – Никаких духов нет. Когда человек умирает, он умирает. После смерти нет никакой жизни. Смерть – это смерть. Люди, которые утверждают, что они видят духов, просто привлекают к себе внимание. Хотят показаться интереснее, чем они есть. Люди, которые верят в реинкарнацию, просто откладывают настоящую жизнь на потом.

Она улыбается.

– Но мне повезло, – говорит она. – Я нашла способ, как наказать этих людей и как заработать деньги.

У нее звонит мобильный.

Она говорит:

– Если ты мне не веришь насчет Патрика, могу показать тебе счет из больницы за этот месяц.

Ее мобильный так и звонит.

Она рассказывает не все сразу, а по частям. Пересекая Вермонт. Пересекая Луизиану, ночью. Потом – Арканзас и Миссисипи. Пересекая маленькие восточные штаты, иногда – по два-три за ночь.

Она принимает вызов и говорит в трубку:

– Элен слушает. – Она смотрит на меня, закатывает глаза и говорит в трубку: – Ребенок, замурованный в стену спальни? Он плачет всю ночь? Правда?

Остальное из этой истории я узнаю, когда мы вернемся домой и я покопаюсь в архивах.

Элен прижимает мобильный к груди и говорит мне:

– Все, что я рассказала и еще расскажу, это не для печати. – Она говорит: – Мы ничего не изменим, пока не найдем «Книгу теней». А потом, когда мы ее найдем, я сделаю так, чтобы Патрик поправился.

Глава двадцать вторая

Мы едем по Среднему Западу, радио в машине настроено на какую-то АМ-станцию, и диктор по радио говорит, что доктор Сара Ловенштейн была светочем нравственности и надежды в пустыне всеобщей бездуховности. Доктор Сара была честным, бескомпромиссным и высоконравственным человеком и не принимала ничего, кроме стойкой и непреклонной добродетели. Она была бастионом честности и прямоты – прожектором, который высвечивал все зло мира. Доктор Сара, говорит диктор, навсегда останется в наших сердцах и душах, потому что собственный ее дух был несгибаемым и не...

Голос умолкает на полуслове.

И Мона бьет по спинке моего сиденья, как раз в район почек, и говорит:

– Только не надо опять. – Она говорит: – Не надо решать свои внутренние проблемы за счет невинных людей.

И я говорю, чтобы она прекратила сыпать обвинениями. Может быть, это все из-за пятен на солнце.

Эти поговорить-голики. Эти послушать-фобы.

Баюльная песня звучит у меня в голове. Все получилось так быстро, что я этого даже не замечаю. Я уже засыпал. Кажется, я еще больше теряю контроль. Я могу убивать во сне.

Несколько миль тишины, «мертвый эфир», как это называется у радиожурналистов, потом радио снова включается и уже другой диктор говорит, что доктор Сара Ловенштейн была высоким моральным критерием, по которому миллионы радиослушателей мерили свою жизнь. Она была пламенеющим мечом в деснице Господа, посланная сюда, чтобы изгнать нечестивцев из храма...

И этот диктор тоже умолкает на полуслове.

Мона бьет по спинке моего сиденья и говорит:

– Это не смешно. Эти радиопроповедники – они же живые люди!

А я говорю: я ничего не делал.

А Элен с Устрицей смеются.

Мона сидит, скрестив руки на груди. Она говорит:

– Уважения у тебя никакого. *Вообще* никакого. Вот так вот просто бросаться силой, которой уже миллион лет.

Мона хватает Устрицу за плечи и толкает его со всей силы, так что он

бьется боком о дверцу. Она говорит:

– И ты тоже. – Она говорит: – Диктор на радио, он такой же живой, как свинья или корова.

Теперь на радио играет легкая танцевальная музыка. У Элен звонит мобильный, она нажимает на кнопку приема и прижимает трубку к уху. Она кивает на радио и произносит одними губами: *сделай потише*.

Она говорит в трубку:

– Да. – Она говорит: – Да, я знаю, кто это. Вы мне скажите, где он сейчас, и как можно точнее.

Я убавляю громкость.

Элен слушает и говорит:

– Нет. – Она говорит: – Мне нужен белый с голубым бриллиант. Семьдесят пять каратов, фигурная огранка. Позвоните мистеру Дрешеру в Женеву, он знает, что именно мне нужно.

Мона вытаскивает из-под сиденья свой рюкзак, достает упаковку цветных фломастеров и толстую тетрадь в обложке из темно-зеленой парчи. Она открывает тетрадь, кладет ее на колени и что-то пишет в ней синим фломастером. Потом убирает синий и открывает желтый.

И Элен говорит:

– Не важно, какая охрана. В течение часа все будет сделано. – Она выключает телефон и бросает его на сиденье.

На сиденье между нами – ее ежедневник. Она открывает его и пишет какое-то имя и сегодняшнее число.

Книга на коленях у Моны – ее «Зеркальная книга». Она говорит, что у каждой уважающей себя ведьмы есть такая зеркальная книга. Что-то вроде дневника и поваренной книги, куда записывают заклинания, ритуалы и вообще все, что связано с колдовством.

– Например, – говорит она и зачитывает из «Зеркальной книги»: – Демокрит утверждает, что можно вызвать грозу, если сжечь голову хамелеона в огне на дубовых дровах.

Она подается вперед и говорит мне прямо в ухо:

– Знаешь, Демокрит. Корень как в демократии.

И я считаю – раз, я считаю – два, я считаю – три...

А чтобы заткнуть человека, говорит Мона, ну, чтобы он прекратил болтать, надо взять рыбку и зашить ей рот.

Чтобы вылечить боль в ухе, говорит Мона, нужно взять семя вепря, когда оно истекает из вагины самки.

В иудейской магической книге «Сефер ‘а разим» есть такой ритуал: нужно убить черного, еще слепого щенка – до того, как у него откроются

глаза. Потом написать на табличке проклятие и вложить табличку в голову щенку. Потом запечатать его пасть воском и спрятать голову под порогом дома того человека, которому предназначается проклятие, и он никогда не заснет.

– Теофраст утверждает, – читает Мона, – что пионы надо рвать по ночам, потому что если, пока ты рвешь пионы, тебя увидит дятел, ты ослепнешь. А если дятел увидит, как ты подрезаешь пионам корни, у тебя приключится выпадение ануса.

И Элен говорит:

– Жалко, что у меня нет рыбы...

По словам Моны, нельзя убивать людей, потому что убийство отдаляет тебя от человечества. Убийство оправдано только тогда, когда ты убиваешь врага. Поэтому надо сделать так, чтобы жертва стала твоим врагом. Любое преступление оправданно, если ты делаешь жертву своим врагом.

Со временем все люди в мире станут твоими врагами.

С каждым новым убийством, говорит Мона, ты все больше и больше отчуждаешься от мира. Ты убеждаешь себя, что весь мир – против тебя.

– Когда доктор Сара Ловенштейн только начинала свое радиошоу, она не набрасывалась на каждого, кто звонил, с руганью и обличениями, – говорит Мона. – У нее было меньше эфирного времени, и аудитория у нее была меньше, и ей действительно, как мне кажется, хотелось помочь людям.

И может быть, это все из-за того, что на протяжение многих лет ей звонили по поводу тех же самых проблем – нежелательная беременность, разводы, семейные неурядицы. Может быть, это все из-за того, что ее аудитория выросла и передачу перенесли на прайм-тайм. Может быть, это все из-за того, что она стала зарабатывать больше денег. Может быть, власть разворачивает, но она не всегда была такой сукой.

Единственный выход, говорит Мона, это признать свое поражение и позволить миру убить меня и Элен за наши преступные деяния. Или мы можем покончить самоубийством.

Я спрашиваю: это что, очередная викканская чепуха?

И Мона говорит:

– Нет. На самом деле это Карл Маркс.

Она говорит:

– Когда ты убил человека, есть единственный способ вернуть себе связь с человечеством. – Она говорит, справляясь по книге: – Есть единственный способ вернуться в ту точку, где мир не будет тебе врагом. Где ты не один.

– Дайте мне рыбу, – говорит Элен. – И иголку с ниткой.

Но я не один.

У меня есть Элен.

Может быть, именно поэтому столько серийных убийц работают в паре. Потому что это приятно – знать, что ты не один в мире, где только враги и жертвы. Неудивительно, что Вальтруда Вагнер, австрийская Ангел Смерти, убедила своих подруг убивать вместе с ней.

Это кажется очень естественным.

Мы с тобой против целого мира...

У Гари Левингдона был его брат, Таддеуш. У Кеннета Бьянчи был Анджело Буоно. У Ларри Биттейкера – Рой Норрис. У Дуга Кларка – Кэрол Банди. У Дэвида Гора – Фред Уотерфилд. У Гвен Грэхем – Кати Вуд. У Дуга Грецлера – Вилл Стилмен. У Джо Каллингера – его сын Майк. У Пата Керни – Дэйв Хилл. У Энди Кокоралейса – брат Том. У Лео Лейка – Чарльз Нджи. У Генри Лукаса – Оттис Тул. У Альберта Ансельми – Джон Скализе. У Алена Майкла – Климон Джонсон. У Дуга Бемора – Кейт Косби. У Иэна Брейди – Майра Хиндли. У Тома Брана – Лео Майн. У Бена Брукса – Фред Триш. У Джона Брауна – Сэм Кетзи. У Билла Барка – Билл Хеер. У Эрксина Барроуза – Ларри Таклин. У Джо Бакса – Марионо Маку. У Брюса Чайлдза – Генри Маккенни. У Элтона Колмена – Дебби Браун. У Энн Френч – ее сын Билл. У Френка Газенберга – его брат Питер. У Дельфины Гонзалес – ее сестра Мария. У доктора Тита Херма – доктор Том Оллген. У Амелии Саш – Энни Уолтерс.

Тринадцать процентов всех известных серийных убийц работали в паре или в группе.

В камере смертников в калифорнийской тюрьме Сан-Квентин Рэнди Крафт, «Убийца по талонам», играл в бридж с Дугом Кларком, «Закатным убийцей», Ларри Биттейкером по прозвищу «Клещи» и «Убийцей с большой дороги» Биллом Бонином. В общем на эту четверку приходилось сто двадцать шесть жертв.

У Элен Гувер Бойль есть я.

«Когда начнешь убивать, уже невозможно остановиться, – сказал Бонин одному журналисту. – Убивать с каждым разом все проще и проще...»

Вынужден согласиться. Это превращается в дурную привычку.

По радио говорят, что доктор Сара Ловенштейн была ангелом добра, не имеющим себе равных по силе и влиянию, десницей Божьей, честью и совестью этого мира, погрязшего в непотребствах, мира греха и жестокости, мира скрытых...

Не важно, сколько людей умирает, все равно все остается по-прежнему.

– Ну давай, докажи, что ты крут, – говорит Устрица, кивая на радио. – Убей и этого мудака тоже.

Я считаю – 37, считаю – 38, считаю – 39...

С тех пор как мы выехали из дома, мы уничтожили семь экземпляров смертоносного стихотворения. Изначальный тираж был 500 экземпляров. Стало быть, 306 экземпляров уже охвачено, остается – 194.

В газетах было написано, что парень в черной кожаной куртке – который просвистел мимо меня на переходе – был донором и сдавал кровь каждый месяц. Он три года провел за границей, в слаборазвитых странах, в составе Корпуса мира – рыл колодцы для прокаженных. В Бостване он отдал часть своей печени девочке, которая отравилась ядовитыми грибами. Он работал оператором на телефоне, когда проводили благотворительную кампанию против какой-то неизлечимой болезни, я, правда, забыл какой.

И все-таки он заслуживал смерти. *Он обозвал меня придурком.*

Он меня толкнул!

В газетах была фотография: мать и отец плачут над гробом моего соседа сверху.

И все-таки он слишком громко врубал свою музыку.

В газетах написано, что фотомодель и манекенщица по имени Денни Д'Тестро была найдена мертвой у себя в квартире сегодня утром.

Не знаю уж почему, но я очень надеюсь, что на вызов поехал не Нэш.

Устрица кивает на радио и говорит:

– Ну давай же, папаша, убей его. Докажи, что ты крут.

На самом деле весь мир состоит из придурков.

Элен берет свой мобильный и обзванивает библиотеки в Оклахоме и Флориде. В Орландо находится еще один экземпляр.

Мона читает нам, что древние греки делали таблички-проклятия – дефиксии.

И еще они делали колоссов, кукол из бронзы, воска или глины, и тыкали в них гвоздями, или ломали их, или калечили, отрезали им руки и головы. Внутрь колосса вкладывали либо волосы намеченной жертвы, либо проклятие, написанное на папирусе.

В Лувре хранится египетская фигурка второго века нашей эры. Это изображение обнаженной женщины, связанной по рукам и ногам, с гвоздями, воткнутыми в глаза, уши, рот, груди, руки, стопы, вагину и анус. Черная в книге оранжевым фломастером, Мона говорит:

– Вы с Элен наверняка бы понравились тому человеку, который сделал

этую фигурку.

Таблички-проклятия представляли собой тонкие свинцовые или медные – иногда глиняные – пластинки. На них писали проклятия, выцарапывали гвоздями от затонувших кораблей, потом сворачивали их в трубочку и протыкали гвоздем. Первую строчку писали слева направо, вторую – справа налево, третью – слева направо, и так далее. Если была возможность, то внутрь заворачивали волосы жертвы или лоскут от ее одежды. Потом табличку бросали в озеро, или в море, или в колодец – чтобы она попала в подземный мир, где ее прочтут демоны и исполнят приказ.

Элен на секунду отрывается от телефона, прижимает его к груди и говорит:

– Похоже на заказ товаров через Интернет.

И я считаю – 346, считаю – 347, считаю – 348...

В греко-романской литературной традиции, говорит Мона, есть ведьмы и колдуны ночные и ведьмы и колдуны дневные. Черные и белые. Белые ведьмы и колдуны – добрые, и их знание открыто для всех. Черные ведьмы и колдуны – злые, они хранят свои знания в тайне и собираются уничтожить весь мир.

Мона говорит:

– Вы двое – определенно ночные.

Эти люди, которые дали нам демократию и архитектуру, говорит Мона, магия – была частью их повседневной жизни. Дельцы и торговцы проклинали друг друга. Сосед насыпал проклятие на соседа. Рядом со стадионом, где проходили первые Олимпийские игры, археологи раскопали колодец, полный табличек-проклятий, – атлеты проклинали атлетов.

Мона говорит:

– Я не выдумываю. Все правда.

Приворотные чары в Древней Греции назывались *агогаи*.

Проклятие на разлучение влюбленных – *диакопой*.

Элен снова подносит телефон к уху и говорит в трубку:

– По стенам кухни течет кровь? Да, разумеется, вы не должны жить в такой обстановке.

Устрица включает свой телефон и говорит в трубку:

– Я хочу дать платное объявление в «Майами Телеграф-Обсервер».

На радио включается хор французских рожков. Хорошо поставленный дикторский голос читает новости. На заднем плане слышен стук телетайпа.

– Человек, который, по подозрениям полиции, был главой самого крупного в Южной Америке наркотического картеля, был найден мертвым

в своей квартире в Майами, – говорит диктор. – Предположительно, тридцативосьмилетний Густав Бреннан держал под контролем продажу кокаина с оборотом в три миллиарда долларов в год. Причина смерти пока не ясна, полиция думает провести вскрытие...

Элен смотрит на радио и говорит:

– Вы слушаете? Что за бред! – Она говорит: – Слушайте, – и прибавляет звук.

– ...Бреннан, – говорит диктор, – который не выходил из дома без целой армии вооруженных телохранителей, находился под непрестанным наблюдением ФБР...

Элен говорит мне:

– Они что, до сих пор пользуются телетайпом?

Тот ее разговор по телефону... белый с голубым бриллиант... имя, которое она записала в своем ежедневнике. Густав Бреннан.

Глава двадцать третья

В прежние времена моряки в долгом плавании оставляли на каждом пустынном острове по паре свиней. Или по паре коз. А когда приходили к этому острову в следующий раз, там уже был запас «живого» мяса. Это были необитаемые острова, царства девственной, дикой природы. Там обитали птицы, которых не было больше нигде на Земле. Там не было хищных зверей. Там не было ядовитых растений или растений с колючками и шипами. Это был истинный рай на Земле.

Когда моряки приходили к такому острову в следующий раз, там их ждали стада свиней или коз.

Устрица рассказывает нам об этом.

Моряки называли такие стада «посеянным мясом».

Устрица говорит:

– Вам это ничего не напоминает? Например, старинную историю про Адама и Еву?

Он говорит, глядя в окно:

– Может быть, Бог однажды вернется на Землю с большой бутылкой острого соуса для барбекю?

Мы проезжаем мимо какого-то серого озера, большого – до горизонта. Там водятся только речные мидии и миноги, говорит Устрица. В воздухе пахнет протухшой рыбой.

Мона прижимает к лицу подушечку, набитую ячменем и лавандой. Тыльные стороны ее ладоней разрисованы замысловатым узором – ржаво-коричневой хной. Узор тянется и по пальцам тоже, до самых ногтей. Красные змеи и лозы, переплетающиеся друг с другом.

У Устрицы звонит мобильный, и он выдвигает антенну. Подносит трубку к уху и говорит:

– «Мымра, Маркер и Муфлон», юридические услуги.

Он ковыряет пальцем в носу, потом вынимает палец и внимательно его изучает. Он говорит в трубку:

– И как скоро случился понос после того, как вы там поели?

Он замечает, что я на него смотрю, и тыкает в меня пальцем.

Элен говорит в свой мобильный:

– Люди, которые жили там раньше, были очень довольны. Это хороший, красивый дом.

В местной газете «Erie Register-Sentinel» в разделе «Досуг» напечатано

объявление:

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ ГОЛЬФ-КЛУБА «ДОМИК

В ДЕРЕВНЕ»

В объявлении сказано: «Искупавшись в бассейне, вы заразились стафилококком, не поддающимся никакому лечению? Если так, то звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд».

В общем, вы уже знаете номер мобильного телефона Устрицы.

В 1870-х годах, говорит Устрица, один человек по имени Спенсер Бэйрд решил поиграть в Господа Бога, накормившего страждущих. Он рассудил, что самым дешевым источником протеина для американцев будет карп обыкновенный. В течение двадцати лет он наводнил всю страну маленькими карпятами. Он договорился с хозяевами железнодорожных компаний, чтобы машинисты возили с собой судочки с его маленькими карпятами и выпускали их в каждый водоем, который попадется у поезда на пути. Он даже не пожалел денег на специальные железнодорожные цистерны для перевозки мальков.

У Элен звонит мобильный, и она отвечает на звонок. Ее ежедневник раскрыт на сиденье. Она говорит в трубку:

– И где конкретно сейчас находится его королевское высочество? – и пишет имя под сегодняшней датой в своем ежедневнике. Она говорит в трубку: – Скажите мистеру Дрешеру, что мне нужны клипсы с изумрудом. Он знает какие.

В другой газете, «Cleveland Herald-Monitor», в разделе «Стиль жизни» напечатано объявление:

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ СЕТИ МАГАЗИНОВ

«СТИЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ВАС»

В объявлении сказано: «Если вы заразились генитальным герпесом, примеряя одежду в указанном магазине, звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать

коллективный иск в суд».

Телефон все тот же. Мобильный Устрицы.

В 1890 году, говорит Устрица, еще один человек решил поиграть в Господа Бога. Юджин Скиффелин выпустил шестьдесят *sturnus vulgaris*, скворцов обычновенных, в нью-йоркском Центральном парке. Пятьдесят лет спустя эти скворцы распространились до Сан-Франциско. Сейчас в Америке более двухсот миллионов скворцов. А все потому, что Скиффелину хотелось, чтобы в Новом Свете жили все виды птиц, упомянутых в произведениях Шекспира.

Устрица говорит в свой мобильный:

– Нет, сэр, ваше имя – это строго конфиденциальная информация, его никто не узнает.

Элен заканчивает разговор по мобильному и закрывает ладонью нос и рот.

– Чем это так пахнет противно?

Устрица прижимает к груди свой мобильный и говорит:

– Дохлой селедкой.

Когда в 1921 году перестроили канал Велланд между озерами Эйр и Онтарио, говорит Устрица, Великие Озера наводнились морскими миногами. Эти паразиты пьют кровь больших рыб типа форели или лосося и убивают их. Когда крупные хищники вымерли, резко выросла популяция мелкий рыб. Со временем они съели весь планктон, после чего вымерли сами. От голода.

– Глупые жадные селедки, – говорит Устрица. – И не только селедки.

Он говорит:

– Либо животные каждого вида учатся контролировать рост своей популяции, либо они вымирают от посторонних причин: голода, или болезней, или войны.

Мона говорит сквозь подушку:

– Не говори им ничего. Они все равно не поймут.

Элен открывает одной рукой сумочку, что лежит на сиденье рядом с ней, и достает маленький аэрозольный баллончик – освежитель дыхания. Кондиционер в машине работает на полную мощность. Элен брызгает освежителем на носовой платок и прижимает платок к носу. Потом она брызгает освежителем на решетку кондиционера и говорит:

– Это насчет баульной песни?

Я говорю, не оборачиваясь назад:

– Ты хочешь использовать эту песню для контроля рождаемости?

А Устрица смеется и говорит:

– Что-то типа того.

Мона убирает подушку и говорит:

– Это насчет гримуара.

Устрица говорит, набирая номер на своем мобильном:

– Если мы его найдем, он будет наш общий.

А я говорю: если мы его найдем, мы его уничтожим.

– Но сначала прочтем.

Устрица говорит в свой мобильный:

– Да, я подожду. – Он говорит нам: – Весьма символично. Вся структура власти западного общества в одной отдельно взятой машине.

Согласно Устрице, «Отцы», у которых вся власть, не хотят никаких перемен.

Он имеет в виду меня.

Я считаю – раз, я считаю – два, я считаю – три...

Устрица говорит, что у «Матерей» власти значительно меньше, но им хочется большего.

Он имеет в виду Элен.

Я считаю – четыре, я считаю – пять, я считаю – шесть...

А у молодых, говорит Устрица, нет вообще никакой власти – нет, но отчаянно хочется.

Устрица с Моной.

Я считаю – семь, я считаю – восемь... а Устрица все говорит и говорит.

Эти помолчать-фобы. Эти поговорить-голики.

Устрица говорит, улыбаясь уголком рта:

– Каждое поколение хочет быть последним. – Он говорит в свой мобильный: – Да, я хочу поместить у вас платное объявление. – Он говорит: – Да, я подожду.

Мона опять прижимает к лицу подушку. Ее пальцы оплетены узором из ржаво-красных змей и лозы.

Костер кровельный, говорит Устрица. Горчица. Пуэрария.

Карпы. Скворцы. Посеянное мясо.

Устрица говорит, глядя в окно:

– Вы никогда не задумывались, что, может быть, Адам и Ева – это просто два глупых щенка, которых Бог выбросил за порог, потому что они не просились пописать на улицу?

Он открывает окно, и в машину врывается запах – теплая вонь дохлой рыбы. Устрица повышает голос, чтобы перекричать шум ветра:

– Может быть, люди – это просто домашние крокодильчики, которых Бог спустил в унитаз?

Глава двадцать четвертая

Очередная библиотека. Я жду в машине, а Элен с Моной идут искать книгу. Я сам вызываюсь ждать. Когда они уходят, я быстро пролистываю ежедневник Элен. Почти под каждой датой записаны имена, и некоторые из них я знаю. Диктатор из какой-нибудь банановой республики или известный мафиози. Все имена зачеркнуты тонкой красной линией. Последние десять – двенадцать имен я переписываю на листок бумаги. Между именами – записи-напоминания о встречах. Почерк у Элен красивый и совершенный, как хорошее ювелирное изделие.

Устрица наблюдает за мной с заднего сиденья. Он сидит, закинув руки за голову. Босые ноги он положил на спинку переднего сиденья, так что они болтаются в непосредственной близости от моего лица. На одной ноге, на большом пальце – серебряное кольцо. На пятках – мозоли. Серые, грязные, растрескавшиеся мозоли. Он говорит:

– Мамочек не понравится, что ты роешься в ее личных вещах.

Я читаю ежедневник наоборот – от конца к началу. Три года имен и назначенных встреч. Там есть и еще, но я вижу, что Элен с Моной уже возвращаются к машине.

У Устрицы звонит мобильный, и он говорит в трубку:

– «Дурень, Демо и Дурында», юридические услуги.

Я не успел прочесть и половины, и трети. Годы и годы страниц. Ближе к концу ежедневника – годы и годы чистых страниц, которые Элен еще предстоит заполнить.

У Элен в руках мобильный. Садясь в машину, она говорит в трубку:

– Нет, мне нужен аквамарин ступенчатой огранки, который принадлежал Императору Зогу.

Мона садится назад и говорит:

– Вы по нам не соскучились? – Она говорит: – Еще одна баюльная песня спущена в унитаз.

Устрица убирает ноги со спинки переднего сиденья и говорит в трубку:

– А сырь кровоточит?

Элен щелкает пальцами, чтобы я передал ей ежедневник. Она говорит в трубку:

– Да, аквамарин, двести каратов. Позвоните Дрешеру в Женеву. – Она открывает ежедневник и пишет имя под сегодняшней датой.

Мона говорит:

– Я вот думаю. – Она говорит: – Как вы считаете, в том гримуаре есть заклинание, чтобы летать? Мне бы очень хотелось летать. Или заклинание, чтобы стать невидимым? – Она достает из рюкзака свою зеркальную книгу и что-то в ней пишет цветными фломастерами. Она говорит: – И еще я хочу разговаривать с животными. Да, и научиться телекинезу... ну, вы знаете... когда передвигаешь предметы одной силой мысли...

Элен заводит двигатель и говорит, глядя в зеркало заднего вида:

– Я зашиваю рот рыбे.

Она убирает мобильный и ручку в сумочку. У нее в сумочке так и лежит серый камушек с ведьминской вечеринки у Моны – камень, который она получила от ковена. Когда Устрица ходил голый с мягким розовым сталактитом из сморщенной кожи и крайней плотью, проколотой серебряным колечком.

Мона в тот же вечер. Шелковица. Ее мускулистая спина, ладная крепкая попка... Я считаю – раз, я считаю – два, я считаю – три...

Еще один маленький городок, еще одна библиотека. Теперь уже Элен с Моной ждут в машине, а мы с Устрицей идем на добычу книжки стихов.

Библиотека в маленьком провинциальном городе, середина дня. Библиотекарь за стойкой. Большой стол, где лежат последние номера газет, переплетенные в огромные картонные папки. Первые полосы сегодняшних газет посвящены Густаву Бреннану. Вчерашних – какому-то сумасшедшему религиозному лидеру с Ближнего Востока. В позавчераших – какому-то заключенному, приговоренному к смертной казни и подавшему апелляцию.

Все имена – в ежедневнике Элен. Даты смерти совпадают с датами в ежедневнике.

Но в газетах есть сообщения и кое о чем похуже. Денни Д'Тестро – сегодня. Саманта Эвиан – три дня назад. Дот Лейн – неделю назад. Все – молодые, все – известные манекенщицы и фотомодели. Все найдены мертвыми, причина смерти не установлена. А еще раньше была Мими Гонсалес. Ее друг нашел ее мертвой в постели, и – никаких следов. Ничего. Никаких зацепок. Правда, в опубликованных сегодня результатах вскрытия сказано, что на теле обнаружены признаки сексуального контакта, произведенного уже после смерти.

Нэш.

Элен заходит в библиотеку и говорит с порога:

– Чего вы так долго? Я есть хочу.

На столе передо мной – мой список имен. Рядом – статья с фотографией Густава Бреннана. И еще одна статья с фотографией с

похорон какого-то психопата-детоубийцы, приговоренного к смертной казни, имя которого я нашел в ежедневнике Элен.

Элен видит все это и говорит:

– То есть теперь ты знаешь.

Она садится за стол, юбка туга натягивается на бедрах. Она говорит:

– Ты хотел знать, как контролировать эту силу, так вот... яправляюсь таким вот образом.

Секрет в том, чтобы сделаться профессионалом, говорит она. Если делаешь что-то за деньги, вряд ли ты будешь делать то же самое за бесплатно.

– Думаешь, проституткам нравится заниматься сексом в нерабочее время? – говорит она.

Она говорит:

– Почему, ты думаешь, архитекторы и дизайнеры всегда живут в недостроенных или неотделанных домах?

Она говорит:

– Почему у всех врачей такое поганое здоровье?

Она указывает рукой на входную дверь и на стоянку за дверью. Она говорит:

– Единственная причина, почему я еще не убила Мону, это потому, что я каждый день убиваю кого-то еще. И мне за это хорошо платят.

Я спрашиваю: а как насчет Мониной мысли? Почему нельзя контролировать силу любовью – когда ты любишь людей так сильно, что тебе просто не хочется никого убивать?

– Дело не в любви и ненависти, – говорит Элен. – Дело во власти. Ведь люди читают стишок вовсе не для того, чтобы убить своего ребенка. Им просто хочется, чтобы ребенок заснул. Им хочется взять над ним верх, хочется доминировать. Не важно, как сильно ты любишь кого-то, ты все равно хочешь сделать по-своему.

Мазохист провоцирует садиста. Даже самый пассивный человек – на самом деле агрессор. Мы все убийцы. Чтобы жить, мы убиваем растения и животных – а иногда и людей.

– Скотобойни, животноводческие хозяйства, парники и теплицы, – говорит она, – нравится тебе это или нет, но все это есть. И ты этим пользуешься.

Я говорю, что она наслушалась Устрицу.

– Секрет в том, чтобы намеренно убивать людей. – Элен берет в руки газету с фотографией Густава Бреннана. Смотрит на снимок и говорит: – Ты намеренно убиваешь чужих людей, чтобы случайно не убить кого-то из

близких, из тех, кого любишь.

Конструктивная деструкция.

Она говорит:

– Я независимый специалист на договоре.

Международный киллер, который работает за драгоценные камни.

Элен говорит:

– Любое правительство занимается тем же самым.

Но правительство убивает людей, руководствуясь уважительными причинами, возражаю я. Например, если нужно казнить преступника, представляющего опасность для общества. Или для примера. Или чтобы отомстить. Да, я согласен, институт смертной казни несовершенен. Но это все-таки не каприз.

Элен на мгновение прикрывает глаза рукой, потом убирает руку, смотрит на меня и говорит:

– А как ты думаешь, кто мне звонит насчет этих маленьких поручений?

Ей звонят из Государственного департамента США?

– Иногда, – говорит она. – В основном звонят из других стран, со всего мира. Но я ничего не делаю за бесплатно.

Но почему драгоценности?

– Я ненавижу торговаться по поводу курса обмена валют, – говорит она. – К тому же, чтобы ты пообедал, поужинал и так далее, умирают животные.

Снова Устрица. Я уже понимаю, в чем моя задача: держать этих двоих подальше друг от друга.

Я говорю, что это другое. Люди выше животных. Животные существуют для того, чтобы кормить людей и служить людям. Люди – разумные и уникальные существа, и Бог дал нам животных, чтобы они кормили нас, и так далее. Животные – наша собственность.

– Конечно, – говорит Элен, – я так и думала, что ты это скажешь. Ты – на стороне победителей.

Я говорю, что конструктивная деструкция – это не тот ответ, которого я искал.

И Элен говорит:

– Прошу прощения, но это – единственный ответ, который я знаю.

Она говорит:

– Давай найдем книгу, разберемся с ней, а потом пойдем и убьем себе на обед какого-нибудь фазана.

Я подхожу к библиотекарю и спрашиваю про книжку детских стихов.

Но она на руках. Подробности о библиотекаре: его волосы слишком густо намазаны гелем и лежат на голове словно твердый нарост или шлем. Волосы светлые, пепельные, с белыми прядями, похожими на наледь. Он сидит за компьютером, и от него пахнет сигаретным дымом. На нем свитер с высоким воротом, на свитере – бэджик с именем. «Саймон».

Я говорю, что мне нужно найти эту книгу. Это вопрос жизни и смерти.
А он говорит: какая неприятность.

Я говорю: нет, ты не понял. Это вопрос *твоей* жизни и смерти.

Библиотекарь нажимает на какую-то кнопку на клавиатуре и говорит, что он вызывает полицию.

– Подожди, – говорит Элен и кладет руку на стойку. Ее пальцы сверкают изумрудами ступенчатой огранки, сапфирами, ограненными звездой, и черными бриллиантами стандартной бриллиантовой огранки. Она говорит: – Саймон, выбирай, что тебе нравится.

Библиотекарь подтягивает верхнюю губу к носу, так что видны его верхние зубы. Он моргает – один раз, второй – и говорит:

– Дорогая, свои фальшивки можешь оставить себе.

Улыбка Элен даже не дрогнула.

Библиотекарь закатывает глаза и как-то весь обмякает. Голова падает на грудь, он утыкается лбом в клавиатуру и медленно сползает со стула на пол.

Конструктивная деструкция.

Элен протягивает свою бесценную руку, чтобы развернуть монитор к себе, и говорит:

– Черт.

Даже мертвый на полу, он выглядит спящим. Прическа, щедро политая гелем, даже не растрепалась.

Элен смотрит на монитор и говорит:

– Он поменял окна. Мне нужен его пароль.

Нет проблем. Большой Брат засоряет мозги всем одинаково. Моя догадка: он считал себя очень умным – точно так же, как и другие считают себя очень умными. Я говорю, чтобы она напечатала слово «пароль».

Глава двадцать пятая

Мона снимает носок у меня с ноги. Просто снимать больно, так что она его скатывает. Изнанка носка сдирает струпья. Хлопья свернувшейся крови летят на пол. Нога распухла, и все складки кожи растянуты. Нога напоминает воздушный шар в красных и желтых пятнах. Мона подкладывает мне под ногу полотенце и льет на нее медицинский спирт.

Боль кошмарная, но проходит быстро – поэтому непонятно, обжигает спирт или, наоборот, холодит. Я сижу на кровати в номере в мотеле, штанина закатана до колена. Мона стоит передо мной на коленях. Я хватаюсь руками за простыню и сжимаю зубы. Спина болит, все тело напряжено. Простыни на кровати холодные и пропитаны моим потом.

Надувшиеся волдыри, желтые и мягкие на ощупь, – по всей стопе. Под слоем отмершей кожи в каждом волдыре виднеются какие-то темные твердые штуковины.

Мона говорит:

– Ты по чему ходил?

Она прокаливает пинцет над пластиковой зажигалкой Устрицы.

Я спрашиваю у нее, что это за объявления, которые Устрица дает в газеты. Он что, работает на какую-то юридическую фирму? Кожный грибок и пищевые отравления – это все по-серезному?

Спирт стекает у меня с ноги, розовый от растворенной в нем крови, на гостиничное полотенце. Мона кладет пинцет на мокрое полотенце и прокаливает над зажигалкой иголку. Она убирает волосы в хвост и скрепляет его резинкой.

– Устрица называет это «антирекламой», – говорит она. – Иногда фирмы, которые он упоминает в своих объявлениях – богатые и солидные фирмы, – платят ему, чтобы он снял объявление. Он говорит, что суммы, которые они ему платят, говорят о том, что объявления не далеки от истины.

Нога распухла, теперь она не войдет в ботинок. Сегодня утром, в машине, я попросил Мону посмотреть, что у меня с ногой. Элен с Устрицей поехали покупать новую косметику. По дороге они собираются заглянуть в большой букинистический магазин – «Книжный амбар» – и упразднить три экземпляра книги.

Я говорю, то, что делает Устрица, называется шантаж и клевета. Уголовно наказуемое преступление.

Уже почти полночь. Я понятия не имею, где Элен с Устрицей. Не знаю и знать не хочу.

– Он не говорит, что он адвокат, – говорит Мона. – Он не говорит, что занимается коллективными исками. Он просто дает объявление. А бланки заполняют другие. Устрица говорит, что он просто сеет зерна сомнения в их умах.

Она говорит:

– Устрица говорит, что это только справедливо – ведь любая реклама обещает сделать тебя счастливым.

Сейчас, когда Мона стоит передо мной на коленях, мне хорошо видна ее татуировка – три черные звездочки над ключицей. За плотной завесой из цепочек с кулонами и амулетами все равно видно, что лифчика на ней нет, и я считаю – раз, я считаю – два, я считаю – три...

Мона говорит:

– Другие члены ковена тоже этим занимаются, но придумал все Устрица. Он говорит, что смысл в том, чтобы разбить иллюзию безопасности и комфорта.

Она протыкает иголкой желтый волдырь, и что-то падает на полотенце. Маленький коричневый кусочек пластмассы, покрытый вонючим гноем и кровью. Мона переворачивает его иголкой, и желтый гной стекает на полотенце. Она подцепляет кусочек пинцетом и говорит:

– А это еще что за хрень?

Это шпиль колокольни.

Я говорю, что не знаю.

Рот у Моны слегка приоткрыт, язык высунут. Она тяжело сглатывает, словно поперхнувшись. Машет рукой перед носом и быстро моргает. Желтая слизь воняет кошмарно. Мона вытирает иголку о полотенце. Одной рукой держит меня за большой палец ноги, а второй протыкает очередной волдырь. Желтый гной течет на полотенце. Туда же падает половинка фабричной трубы.

Мона подцепляет ее пинцетом и вытирает о полотенце. Подносит поближе к глазам, морщится и говорит:

– Не хочешь мне рассказать, что происходит?

Она протыкает очередной волдырь, и наружу – в гное и крови – вываливается купол-луковица от мечети. Пинцетом Мона вынимает у меня из ноги крошечную обеденную тарелку. Тарелка расписана по ободку красными розами.

Снаружи доносится пожарная сирена.

Очередной волдырь – и на полотенце падает фронтон здания банка

эпохи какого-то из Георгов.

Из следующего волдыря извлекается часть университетской крыши.

Я весь в поту. Глубоко дышу. Сжимаю влажные простыни и скриплю зубами. Я смотрю в потолок и говорю, что модели трагически погибают. Кто-то их убивает.

Доставая кусок пластмассовой арматуры, Мона говорит:

– Топчет их ногами?

Я уточняю: *фотомодели*. Манекенщицы.

Иголка вонзается мне в стопу. Выуживает телевизионную антенну. Пинцет подцепляет горгулью. Потом – крошечную черепицу, ставни, шиферную плиту, кусок водосточной трубы.

Мона приподнимает за край вонючее полотенце и складывает его вдвое, чистой стороной вверх. Льет мне на ногу еще спирту.

Снаружи ревет еще одна пожарная сирена. По шторам проходит отсвет от красной и синей мигалки.

А я не могу вздохнуть – так болит нога.

Нам нужно, говорю я. Мне нужно... нам нужно...

Нам нужно вернуться домой, говорю на одном дыхании. Если все так, как я думаю, то мне надо остановить человека, который использует баюльную песню.

Мона вынимает пинцетом синий пластмассовый ставень и кладет его на полотенце. Потом – кусок занавески из спальни и желтую занавеску из детской. Потом – фрагмент частокола. Она опять поливает мне ногу спиртом, и на этот раз он стекает на полотенце чистым, без крови и гноя. Мона зажимает пальцами нос.

Снаружи снова – сирены пожарных, и Мона говорит:

– Ты не против, если я включу телевизор? Интересно же, что происходит.

Я смотрю в потолок, стиснув зубы, и говорю: нельзя... нельзя...

Сейчас, когда мы одни, я говорю Моне, что нельзя доверять Элен. Она хочет добыть гrimуар, чтобы получить власть над миром. Я говорю, что единственный способ излечить человека, наделенного властью, – это не дать ему еще больше власти. Нельзя допустить, чтобы Элен заполучила оригинальную Книгу Теней.

Очень медленно – так медленно, что я почти не улавливаю движения – Мона извлекает рифленую ионическую колонну из окровавленной дырки у меня под большим пальцем. Медленно, как часовая стрелка на циферблате. Я не помню, откуда эта колонна: из музея, из церкви или из здания колледжа. Все эти сломанные дома и раскуроченные учреждения...

Она скорее археолог, нежели хирург.

Мона говорит:

– Забавно.

Она кладет колонну на полотенце, рядом с другими деталями. Опять наклоняется над моей ногой, хмурится и говорит:

– Элен то же самое про тебя говорит. Что тебе нельзя доверять. Она говорит, что ты хочешь его уничтожить, гrimуар.

Его необходимо уничтожить. Никто не сможет управиться с *такой* силой.

По телевизору передают репортаж с пожара. Трехэтажное кирпичное здание – все в огне. Пожарные тянут шланги, из шлангов хлещет вода – пенистая и белая. В кадре появляется молодой человек с микрофоном, а у него за спиной – Элен с Устрицей наблюдают за пожаром, стоя щека к щеке. В руке у Устрицы – пластиковый пакет с покупками. Элен держит его за другую руку.

Мона приподнимает бутылку со спиртом и смотрит на свет, сколько еще осталось. Она говорит:

– Кем мне по-настоящему хочется стать, так это эмпатом, чтобы лечить людей, просто к ним прикасаясь. – Она читает надпись на этикетке и говорит: – Элен говорит, что мы можем превратить землю в рай.

Я полулежу на кровати, опираясь на локти, и говорю, что Элен убивает людей за бриллиантовые диадемы. Вот такой из нее спаситель.

Мона вытирает о полотенце пинцет и иголку, на белой ткани остаются красные с желтым подтеки. Она нюхает горлышко бутылки со спиртом и говорит:

– Элен считает, что эта книга тебе интересна только на предмет выдать статью для газеты. Она говорит, что когда все заклинания будут уничтожены – в том числе и баульные, – ты потом будешь ходить и гордиться собой, какой ты, типа, герой.

Я говорю, что в мире и так хватает оружия массового уничтожения. Ядерное оружие. Химическое оружие. Я говорю, что далеко не все люди, которые владеют магией, собираются сделать мир лучше.

Я говорю Моне, что если вдруг до такого дойдет, мне будет нужна ее помощь.

Я говорю, что может так получиться, что нам придется убить Элен.

И Мона качает головой над безнадежно испорченным гостиничным полотенцем. Она говорит:

– Стало быть, твой ответ на убийства – еще больше убийств?

Только Элен, говорю я. И еще, может быть, Нэша – если моя догадка

насчет странных смертей манекенщиц верна. Когда мы их убьем, мы снова вернемся к нормальной жизни.

На экране молодой человек с микрофоном говорит, что три пожарные машины почти перекрыли движение в центре. Он говорит, что все силы брошены на тушение пожара. Он говорит, что это был любимый магазин всех горожан.

– Устрице, – говорит Мона, – не нравятся твои понятия о нормальном.

Любимый магазин всех горожан – букинистический «Книжный амбар». Элен и Устрицы уже нет на экране.

Мона говорит:

– В детективных романах, когда мы их читаем... ты никогда не задумывался, почему нам так хочется, чтобы детектив разрешил загадку и нашел преступника? – Может быть, говорит она, вовсе не потому, что нам хочется, чтобы свершилась месть или чтобы прекратились убийства. Может, на самом деле нам хочется, чтобы преступник исправился. Детектив – это спаситель убийцы. Представь себе, что Иисус гоняется за тобой, пытаясь поймать тебя и спасти твою душу. Что он не просто пассивный и терпеливый Бог, а въедливая и агрессивная ищайка. Нам хочется, чтобы преступник раскаялся на суде. Или в камере смертников, в окружении таких же, как он. Детектив – это пастырь, и нам хочется, чтобы преступник, блудная овца, вернулся в стадо, вернулся к нам. Мы его любим. Мы по нему скучаем. Мы хотим заключить его в объятия и прижать к груди.

Мона говорит:

– Может, поэтому столько женщин выходит замуж за заключенных, и за убийц в том числе. Чтобы их исцелить.

Я говорю ей, что по мне никто не скучает.

Мона качает головой и говорит:

– Знаешь, вы с Элен очень похожи на моих родителей.

Мона. Шелковица. Моя дочь.

Я ложусь на кровать и спрашиваю: как так?

Мона говорит, вытаскивая у меня из ноги дверную раму:

– Как раз сегодня утром Элен мне сказала, что может так получиться, что ей придется тебя убить.

У меня бибикает пейджер. Этого номера я не знаю. В сообщении сказано, что дело срочное.

Мона вытаскивает витражное окно из окровавленной дырки у меня в ноге. Она поднимает его, так что свет проходит сквозь разноцветные кусочки, смотрит сквозь крошечное окошко и говорит:

– Меня больше волнует Устрица. Он далеко не всегда говорит правду.

И тут открывается дверь. Снаружи ревут сирены. В телевизоре тоже ревут сирены. По шторам проходит отсвет от красной и синей мигалки. В номер вваливаются Элен и Устрица, они смеются и тяжело дышат. Устрица размахивает пакетом с косметикой. Элен держит в руке туфли на шпильках. От обоих пахнет шотландским виски и дымом.

Глава двадцать шестая

Представьте себе чуму, которая передается на слух.

Устрица со своим экологическим бредом, обниманием деревьев, насильственным биозахватом и прочими апокрифическими заморочками. Вирус его информации. То, что всегда мне казалось сочными и зелеными джунглями, обернулось трагедией от европейского плюща, который душит и убивает все остальные растения. А стаи скворцов – с их черным сияющим оперением и приятным веселым щебетом – обернулись убийцами, которые разоряют гнезда сотни видов туземных птиц.

Представьте себе идею, которая занимает ваш разум, как армия – павший город.

*Там, за окнами нашей машины, – Америка.
О прекрасные небеса, где черные стаи скворцов
Над янтарными волнами пижмы.
О пурпурные горы вербейника,
Над равнинами, где бубонная чума.
Америка.
Осада идей. Незаконный захват власти над жизнью.
Мертвая хватка.*

Когда послушаешь Устрицу, стакан молока – это уже не просто стакан молока, чтобы запивать шоколадные печеньки. Коров специально накачивают гормонами и держат их в состоянии перманентной беременности. Это неизбежные телята, которые живут всего несколько месяцев, втиснутые в тесные стойла. Свинья отбивная означает, что свинья бьется в агонии и истекает кровью, подвешенная за ногу к потолку, пока ее заживо режут на отбивные, шейку и карбонат. Даже яйцо вкрутую – это несчастная курица, с искалеченными ногами, потому что она постоянно сидит в инкубаторе – в клетке четыре на четыре дюйма, такой узкой, что она даже не может расправить крылья. От такой жизни она сходит с ума, но ей заранее отрезали клюв, чтобы она не заклевала других наседок в соседних клетках. Ее перья вытерлись о прутья, клюв у нее отрезан, она кладет яйцо за яйцом, пока ее кости не начинают ломаться от недостатка кальция.

А потом их пускают на суп с лапшой и на всякие полуфабрикаты, этих несчастных куриц, потому что никто их не купит на тушки – настолько они искалечены и исцарапаны. Это и есть куриные котлеты. Кусочки в кляре.

Устрица любит поговорить на подобные темы. Это – его информационная чума. Когда он заводит такой разговор, я делаю радио громче – любую музыку, кантри иливестерн. Или трансляцию баскетбольного матча. Что угодно, лишь бы было достаточно громко и длинно, чтобы я мог сделать вид, что сандвич, который я ем, – это просто мой завтрак. Что животные – это животные. Что яйцо – это просто яйцо. Что сыр – это сыр, а не страдания новорожденного теленка. Что у меня как у человека есть неотъемлемое право на еду.

Большой Брат поет и пляшет, чтобы я ни о чем не задумывался. Для моего же блага.

В сегодняшней местной газете сообщение о смерти очередной манекенщицы. Там же помещено объявление:

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ СОБАЧЬЕЙ ФЕРМЫ

«УПАВШАЯ ЗВЕЗДА»

В объявлении сказано: «Если ваша собака, купленная на указанной ферме, оказалась больна бешенством, звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд».

Проезжая по краю, который раньше был просто красивым краем с потрясающей природой, и доедая свой завтрак, который раньше был просто сандвичем с вареным яйцом, я интересуюсь, почему они просто не купили те три книги в «Книжном амбаре». Устрица и Элен. Можно было вообще их не покупать, а просто вырвать страницы. Я говорю, что цель нашей поездки заключается в том, чтобы никому *не пришлось* сжигать книги.

– Расслабься, – говорит Элен. Она, как всегда, за рулем. – В том магазине было три экземпляра. Но вот в чем проблема: они не знали, где именно их искать.

А Устрица говорит:

– Там все полки были перепутаны. – Мона спит, положив голову ему на колени, и он рассеянно перебирает руками ее дреды, разделяя черные и красные пряди. – Она по-другому не засыпает, – говорит он. – Она будет

спать вечно, если я не перестану трогать ее волосы.

Совершенно без всякой связи мне вспоминается моя жена. Жена и дочка.

С этими пожарными сиренами мы всю ночь не спали.

– Этот «Книжный амбар», он был как крысиное гнездо, – говорит Элен.

Устрица вплетает в волосы Моны кусочки разломанной цивилизации. Артефакты из моей ноги, обломки колонн, лестниц и громоотводов. Он распускает ее ловца снов навахо и вплетает ей в волосы монеты И-Цзын, стеклянные бусины и веревочки. И перья пасхальных цветов: голубые и розовые.

– Мы весь вечер искали, – говорит Элен. – Проверили каждую книжку в отделе детской литературы. Потом прочесали раздел «Наука». Потом – Религию. Философию. Поэзию. Народный фольклор. Этническую литературу. Мы перебрали всю художественную литературу.

Устрица говорит:

– В компьютере книги были, но потерялись где-то в магазине.

И они сожгли весь магазин. Ради трех книг. Они сожгли десятки тысяч книг, чтобы наверняка уничтожить те три.

– Другого выхода не было, – говорит Элен. – Ты знаешь, насколько они опасны, эти книги.

Совершенно без всякой связи мне вспоминается Содом и Гоморра. Что Бог пощадил бы эти города, если бы там остался хотя бы один безгрешный и добрый человек.

Здесь же все наоборот. Уничтожены тысячи, чтобы гарантированно уничтожить единицы.

Представьте себе новое Средневековье, новое мракобесие. Представьте костры из книг. И в тот же костер полетят фильмы и аудиозаписи, радиоприемники и телевизоры.

И я даже не знаю, чем мы сейчас занимаемся: предотвращаем такой поворот событий или, наоборот, приближаем.

По телевизору передали, что при пожаре погибли двое охранников.

– На самом деле, – говорит Элен, – они были мертвы еще до пожара. Нам нужно было спокойно разлить бензин.

Мы убиваем людей для спасения жизней?

Мы сжигаем книги, чтобы спасти книги?

Я задаю вопрос: во что превращается наша поездка?

– Ни во что она не превращается, – говорит Устрица, пропуская прядь волос Моны сквозь монетку с дырочкой. – Чем она была, тем она и

осталась. Захват власти над миром.

Он говорит:

– Ты, папочка, хочешь, чтобы все осталось таким, как есть, но чтобы главным был ты.

Он говорит, что Элен тоже хочет, чтобы все осталось таким, как есть, но чтобы главной была она. Каждое поколение хочет быть последним. Каждое поколение ненавидит новое направление в музыке, которую не понимает. Нас бесит и злит, когда наша культура сдает позиции, уступая место чему-то другому. Нас бесит и злит, когда наша любимая музыка играет в лифтах. Когда баллада нашей революции превращается в музыкальную заставку для телерекламы. Когда мы вдруг понимаем, что наш стиль одежды и наши прически уже стали *ретро*.

– Лично я, – говорит Устрица, – за то, чтобы все вообще уничтожить – и людей, и книги – и начать все заново. И чтобы главных не было.

А он и Мона будут новыми Адамом и Евой?

– Нет, – говорит он, убирая волосы Моны с ее лица. – Нас тоже уничтожат.

Я интересуюсь, неужели он так ненавидит людей, что даже готов убить женщину, которую любит. Я говорю, почему бы ему просто не покончить самоубийством.

– Нет, – говорит Устрица, – я всех люблю. Растения, животных, людей. Я просто не верю в великую ложь, что мы все можем плодиться и размножаться, не уничтожая при этом себя.

Я говорю, что он предатель своего племени.

– Я, бля, самый что ни на есть патриот, – говорит Устрица, глядя в окно. – Баюльная песня – это благословение. Зачем, ты думаешь, ее вообще придумали? Она спасет миллионы людей от медленной и мучительной смерти – от болезней и голода, от солнечной радиации и войны, от всего, к чему мы сами себя толкаем.

То есть он готов убить себя и Мону? А как насчет его родителей? Он их тоже убьет? А как насчет маленьких детей, которые только еще начинают жить? А как насчет всех хороших и добрых людей, которые выступают за экологию и не мусорят на улицах? Как насчет вегетарианцев? В чем они виноваты?

– Речь не о том, кто виноват, а кто нет, – говорит он. – Динозавры не были ни хорошими, ни плохими с точки зрения морали, однако же они вымерли.

Рассуждения в точности как у Адольфа Гитлера. Как у Иосифа Сталина. Как у серийного убийцы. Как у массового убийцы.

Устрица говорит, вплетая в волосы Моны витражное окошко:

– И я хочу сделаться тем, от чего вымерли динозавры.

Я говорю, динозавры вымерли из-за природного катаклизма.

Я говорю, что не хочу ехать в одной машине с человеком, который мечтает сделаться массовым убийцей.

И Устрица говорит:

– А как насчет доктора Сары? Мамуль? Помоги мне подсчитать. Скольких еще человек он уже убил, наш папуля?

И Элен говорит:

– Я зашиваю рот рыбе.

Я слышу, как Устрица щелкает зажигалкой, оборачиваюсь к нему и спрашиваю: ему обязательно курить прямо сейчас? Я пытаюсь поесть.

Но Устрица держит над зажигалкой Монину книгу «Прикладное искусство американских индейцев». Держит ее корешком вверх и быстро перелистывает страницы над крошечным язычком пламени. Потом чуть-чуть приоткрывает окно, выставляет книгу наружу, чтобы огонь разгорелся на ветру, и бросает ее на дорогу.

Костер кровельный любит огонь.

Устрица говорит:

– Многое зло – от книг. Шелковице надо изобрести свой собственный путь духовного просвещения.

У Элен звонит мобильный. У Устрицы звонит мобильный.

Мона вздыхает и шевелится во сне. Глаза у нее закрыты, Устрица гладил ее по волосам, у него звонит телефон, но он на звонок не отвечает, Мона зарывается лицом Устрице в колени и говорит:

– Может быть, в гримуаре есть заклинание, чтобы остановить перенаселенность.

Элен открывает свой ежедневник и записывает имя под сегодняшней датой. Она говорит в трубку:

– Не надо никаких священников, изгоняющих бесов. Мы можем выставить дом на продажу уже сегодня.

Мона говорит:

– Что нам нужно, так это какое-нибудь универсальное заклинание «всемирной кастрации».

Я интересуюсь: здесь никого не волнует, что после смерти он попадет прямо в ад?

Устрица достает телефон из своего бисерного мешочка.

Телефон все звонит и звонит.

Элен прижимает свой телефон к груди и говорит:

– Я даже не сомневаюсь, что правительство уже ищет пути, как остановить перенаселенность, – какую-нибудь вирусную заразу, что-нибудь в этом роде.

А Устрица говорит:

– Чтобы спасти мир, Иисус страдал на кресте почти сорок часов. – Его телефон так и звонит. – Ради такого дела я готов страдать вечность в аду.

Его телефон все звонит и звонит.

Элен говорит в трубку:

– Правда? У вас в спальне пахнет серой?

– Вот и думай, кто лучший спаситель, – говорит Устрица и наконец отвечает на звонок. Он говорит в трубку: – «Мымра, Муфта и Макака», юридические услуги.

Глава двадцать седьмая

Представьте себе, что пожар в Чикаго в 1871 году бушевал где-то полгода, прежде чем кто-то это заметил. Представьте, что наводнение в Джонстоне 1998 года или землетрясение в Сан-Франциско в 1906 году длились полгода, или даже год, или вообще два года, прежде чем кто-нибудь обратил внимание на происходящее.

Строительство из дерева, строительство на линиях разлома земной коры, строительство на затопляемых равнинах – у каждой эпохи свои собственные «природные» катаклизмы.

Представьте себе наводнение темной зелени в центре любого большого города, офисные и жилые здания погружаются в эту самую зелень, дюйм за дюймом.

Здесь и сейчас. Я пишу эти строки в Сиэтле. С опозданием на день, на неделю, на год. Задним числом. Мы с Сержантом по-прежнему охотимся на ведьм.

Hedera helixseattle, так ботаники называют этот новый вид европейского плюща. Одна неделя – и зеленые насаждения вокруг Олимпийского стадиона вроде бы чуть разрослись. Плющ слегка потеснил анютины глазки. Побеги плюща прикрепились к кирпичной стене и поползли вверх. Никто этого не заметил. В последнее время в городе шли дожди.

Никто ничего не замечал, пока в один прекрасный день не оказалось, что двери в подъездах жилого комплекса «Парк-Сеньор» не открываются, потому что они заросли плющом. В тот же день южная стена театра Фримонт – кирпичи и бетон толщиной в три фута – едва не обрушилась на толпу продавцов и покупателей на уличной распродаже. В тот же день просела подземная часть автовокзала.

Никто не может сказать, когда именно здесь появился *Hedera helixseattle*, но попробуйте догадаться.

В «Сиэтл-таймс» от 5 мая, в разделе «Развлечения и досуг», есть объявление. Шириной в три колонки.

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ СУШИ-БАРА «ОРАКУЛ»

В объявлении сказано: «Пообедав в указанном суши-баре, вы

заразились кишечными паразитами, вызывающими зуд и чесотку в ректальной области? Если так, то звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд». Дальше, понятное дело, указан номер.

Мы с Сержантом звоним. Вернее, я звоню, а Сержант сидит рядом.

Мужской голос на том конце линии говорит:

— «Дюбель, Домбра и Дурында», юридические услуги.

И я говорю:

— Устрица?

Я говорю:

— Ты где, пиздюк?

И он вешает трубку.

Здесь и сейчас. Я пишу эти строки в Сиэтле, в закусочной неподалеку от здания Управления общественных работ. Официантка говорит нам с Сержантом:

— Этот плющ уже не убьешь. — Она наливает нам кофе. Она смотрит в окно на стену зелени, увитую толстым серым плющом. Она говорит: — Без него все рассыпается.

В сетке из ползучих побегов и листьев шатаются кирпичи. По бетону расходятся трещины. Оконные рамы сдавлены, так что в них разбиваются стекла. Двери не открываются, потому что они заросли плющом. Птицы летают среди буйной зелени, клюют семена плюща, а потом гадят — разносят его повсюду. Улицы превратились в каньоны зелени, под зеленым ковром уже не видно асфальта.

«Зеленая угроза», так называют это в газетах. Плющевой эквивалент пчел-убийц. Плющевой ад.

Тишина, неотвратимая. Крушение цивилизации в замедленной съемке.

Официантка рассказывает, что всякий раз, когда работники городских служб вырубают плющ, или выжигают его огнем, или поливают ядохимикатами — даже когда в город выпустили карликовых коз, чтобы они его съели, плющ, — он разрастается еще больше. Обрушаются подземные тоннели. Корни плюща разрывают подземный кабель и водопроводные трубы.

Сержант вновь и вновь набирает номер, указанный в объявлении про суши-бар, но там никто не отвечает.

Официантка смотрит в окно на побеги плюща, которые уже добрались до середины улицы. Через неделю она лишится работы.

— Национальная гвардия обещала помочь, — говорит она.

Она говорит:

– Я слышала, что в Портленде тоже плющ. И в Сан-Франциско. – Она вздыхает и говорит: – Мы, определенно, проигрываем эту битву.

Глава двадцать восьмая

Человек открывает дверь, и мы с Элен стоим на крыльце, я стою на шаг сзади и держу ее косметичку, а Элен тычет в мужчину пальцем с длинным розовым ногтем и говорит:

– О господи.

Она сует свой ежедневник под мышку и говорит:

– Мой муж. – Она отступает на шаг. – Мой муж хотел бы представить вам свидетельства благости Господа нашего Иисуса Христа.

Сегодня Элен во всем желтом, но это не желтый, как лютик, а желтый, как лютик, отлитый из золота и украшенный цитронами, работы Карла Фаберже.

В руке у мужчины – бутылка пива. На ногах – толстые носки, без обуви. Его махровый халат не застегнут, под халатом – белая футболка и боксерские трусы в маленьких гоночных машинках. Он подносит бутылку пива ко рту и запрокидывает голову. В бутылке булькают пузырьки. У гоночных машинок овальные шины, наклоненные вперед. Мужик смачно рыгает и говорит:

– Вы, ребята, серьезно?

У него черные волосы. Они свисают на морщинистый лоб а-ля Франкенштейн. Под глазами у него мешки, а сами глаза печальные, как у грустного пса.

Я протягиваю ему руку. Мистер Сьерра? – говорю я. Мы пришли, чтобы разделить с вами божью любовь.

Мужик с машинками на трусах хмурится и говорит:

– Откуда вы знаете, как меня зовут? – Он подозрительно косится на меня и говорит: – Вас Бонни прислала со мной поговорить?

Элен заглядывает в гостиную, слегка наклонившись вбок. Открывает сумочку, достает пару белых перчаток и надевает их. Застегивает крошечные пуговки на перчатках и говорит:

– Нам можно войти?

Предполагалось, что все будет проще.

План В. Если дома мужчина, действуем по плану В.

Мужик с машинками на трусах снова подносит бутылку ко рту и всасывает в себя пиво, втянув небритые щеки. Остатки пива выбулькиваются в рот. Он отступает в сторону:

– Ну ладно, входите. Садитесь. – Он смотрит на пустую бутылку и

говорит: – Пива хотите?

Мы заходим, а он идет на кухню. Слышно, как он открывает бутылки.

В гостиной стоит только кресло-кровать, другой мебели нет. На картонном ящике из-под молока – маленький переносной телевизор. За раздвижными стеклянными дверями – маленький внутренний дворик. В дальнем конце дворика – большие вазы с цветами, заполненные до краев дождевой водой. Цветы давно сгнили. Гнилые бурье розы на черных стебельках, махряющихся серым мхом. Вокруг одного из букетов обвязана широкая черная лента.

На потертом ковре в гостиной – продавленный след от отсутствующего дивана. Продавленный след от комода, маленькие углубления от ножек стульев и столов. Большой плоский квадрат, выдавленный на ковре. Выглядит очень знакомо.

Мужик с машинками на трусах указывает на кресло-кровать:

– Садитесь. – Он отпивает пива и говорит: – Садитесь, и поговорим о Боге. Какой он на самом деле.

Плоский квадрат на ковре остался от детского манежика.

Я спрашиваю: можно моя жена сходит у вас в туалет?

Он наклоняет голову набок и смотрит на Элен. Чешет свободной рукой затылок и говорит:

– Конечно. В конце коридора. – Он указывает рукой, в которой держит бутылку.

Элен смотрит на пиво, пролившееся на ковер, и говорит:

– Спасибо. – Достает из подмышки свой ежедневник, передает его мне и говорит: – Если тебе вдруг понадобится, вот Библия.

Ее ежедневник с именами жертв и адресами домов с привидениями. Потрясающее.

Он еще теплый после ее подмышки.

Она уходит по коридору. В ванной включается вентилятор. Где-то хлопает дверь.

– Садись, – говорит мне мужик с машинками на трусах.

Я сажусь.

Он стоит так близко ко мне, что я боюсь открывать ежедневник – боюсь, он увидит, что это никакая не Библия. От него пахнет пивом и потом. Маленькие гоночные машинки – как раз на уровне моих глаз. Овальные шины наклонены вперед, и поэтому кажется, что они едут быстро. Мужик отпивает пива и говорит:

– Расскажи мне о Боге все.

От кресла-кровати пахнет так же, как от мужика. Золотистый плюш,

коричневый от грязи на подлокотниках. Он теплый. И я говорю, что Бог честный и бескомпромиссный, он не принимает ничего, кроме стойкой и непреклонной добродетели. Он – бастион честности и прямоты, прожектор, который высвечивал все зло мира. Бог навсегда остается в наших сердцах и душах, потому что собственный его дух несгибаем и не...

– Вздор, – говорит мужик. Он отворачивается, подходит к стеклянным дверям и смотрит во внутренний дворик. Его лицо отражается в стекле – только глаза, щеки, покрытые темной щетиной, тонут в тени.

Я говорю голосом радиопроповедника, что Бог – это высокий моральный критерий, по которому миллионы людей должны измерять свою жизнь. Он – пламенеющий меч, посланный к нам, дабы изгнать нечестивцев из храма...

– Вздор! – кричит мужик своему отражению в стекле. Пиво течет из его отраженного рта.

В дверях гостиной появляется Элен. Держит руку во рту и жует согнутый палец. Смотрит на меня и пожимает плечами. Потом опять исчезает в сумраке коридора.

Я говорю, что Бог – это неодолимая сила и великое нравственное побуждение. Бог – совесть нашего мира, мира греха и злобных намерений, мира скрытых...

– Вздор, – говорит мужик тихо, почти что шепотом. Пар от его дыхания стер его отражение. Он оборачивается ко мне, указывает на меня рукой, в которой держит бутылку, и говорит: – Прочитай мне, где в твоей Библии говорится, как сделать так, чтобы все стало по-прежнему.

Я слегка приоткрываю ежедневник Элен, переплетенный в красную кожу, и заглядываю внутрь.

– Подскажи, как доказать полиции, что я никого не убивал, – говорит он.

В ежедневнике – имя, Ренни О’Тул, и дата, 2 июня. Я не знаю, кто это такой. Знаю только, что он уже мертв. 10 сентября – Самара Ампирси. 17 августа Элен продала дом на Гарднер-Хилл-роуд. В тот же день она убила царя-тирана Республики Тонгле.

– Прочитай! – кричит мужик с машинками на трусах. Пиво у него в руке проливается пеной ему на пальцы и капает на ковер. Он говорит: – Прочитай, где говорится, что в одну ночь ты теряешь все, что у тебя было хорошего в жизни, и тебя же потом обвиняют.

Я смотрю в ежедневник на имена мертвых людей.

– Прочитай, – говорит он и отпивает еще пива. – Прочитай, где говорится, что жена может обвинить мужа в убийстве их ребенка, и все ей

поверят.

В самом начале ежедневника написанное стерлось, так что почти невозможно прочесть. Мелкий, убористый почерк. Страницы как будто засижены мухами. А еще раньше кто-то вырвал страницы.

– Я просил Бога, – говорит мужик. Он потрясает бутылкой пива и говорит: – Я просил Бога, чтобы он дал мне семью. Я ходил в церковь.

Я говорю, может быть, в самом начале Бог не набрасывался на каждого, кто молился, с проповедями и обличениями. Я говорю, может быть, это все из-за того, что на протяжении многих лет к Нему обращались по поводу тех же самых проблем – нежелательная беременность, разводы, семейные неурядицы. Может быть, это все из-за того, что Его аудитория выросла и больше людей стали к Нему обращаться с просьбами. Может быть, это все из-за того, что Его популярность так выросла. Может быть, власть развращает, но Он не всегда был таким мерзавцем.

Мужик с машинками на трусах говорит:

– Слушай. – Он говорит: – Через два дня был у меня суд. Там будут решать, виновен ли я в убийстве собственного ребенка. – Он говорит: – Скажи мне, как Бог собирается меня спасать.

У него изо рта пахнет пивом. Он говорит:

– Ну, давай, скажи мне.

Мона наверняка заставила бы меня сказать правду. Чтобы спасти этого парня. Чтобы спасти себя и Элен. Чтобы воссоединить нас со всем человечеством. Может быть, этот мужик и его жена тоже воссоединятся, но тогда стихотворение проникнет в мир. Умрут миллионы. А все остальные будут жить в мире молчания и слушать лишь то, что им кажется безопасным. Будут затыкать уши и жечь книги, фильмы и аудиозаписи.

Вода сливаются в унитазе. В ванной выключается вентилятор. Открывается дверь.

Мужик подносит бутылку ко рту, внутри пузырится пиво.

Элен появляется в дверях.

У меня жутко болит нога, и я спрашиваю, не думал ли он завести себе какое-нибудь хобби.

Что-нибудь, чем можно занять себя в тюрьме, если дойдет до тюрьмы.

Конструктивное разрушение. Элен бы одобрила эту жертву. Приговорить одного невиновного, чтобы не умерли миллионы.

Вспомним подопытных животных – каждое умирает, чтобы спасти дюжину раковых больных.

Мужик с машинками на трусах говорит:

– По-моему, вам лучше уйти.

По дороге к машине я отдаю Элен ее ежедневник и говорю: вот твоя Библия. У меня бибикает пейджер. Этого номера я не знаю.

Ее белые перчатки почернели от пыли. Она говорит, что вырвала из книжки страницу с баюльной песней, разорвала ее на мелкие кусочки и выбросила в окно детской. Сейчас дождь. Бумага сгниет.

Я говорю, что этого не достаточно. Может, ее найдет какой-нибудь ребенок. Сам факт, что листок порван в клочки, может заставить кого-то собрать их вместе. Например, детектива, который расследует смерть ребенка.

А Элен говорит:

– В ванной у них кошмар.

Мы объезжаем квартал и паркуемся. Мона что-то пишет у себя в книге. Устрица разговаривает по мобильному. Я выхожу из машины и возвращаюсь к дому. Трава мокрая от дождя, у меня сразу промокли туфли. Элен объяснила мне, где детская. Окно по-прежнему открыто, занавески висят чуть неровно. Розовые занавески.

Кусочки разорванной страницы разбросаны в грязи, я их собираю.

Мне слышно, как за занавесками, в пустой комнате, открывается дверь. Кто-то заходит в комнату из коридора, и я пригибаюсь под окном. Мужская рука ложится на подоконник, и я буквально распластываюсь по стене. Где-то вверху – там, где мне не видно – мужчина плачет.

Дождь льет сильнее.

Мужчина стоит у распахнутого окна, опершись руками о подоконник. Он плачет в голос. Его дыхание пахнет пивом.

Я не могу убежать. Не могу выпрямиться в полный рост. Зажимая ладонью рот и нос, я потихоньку двигаюсь вбок. На пару дюймов за раз. Прижимаясь спиной к стене. Все происходит само собой. Непроизвольно, как это бывает, когда тебя пробирает озноб – дыша сквозь прижатые ко рту пальцы, я тоже плачу. Рыдания похожи на рвотные позывы. Живот сводит и крутит. Я закусываю ладонь, сопли текут мне в руку.

Мужчина шмыгает носом. Дождь льет сильнее, мои ботинки совсем промокли.

Я сжимаю в кулаке клочки разорванной страницы – власть над жизнью и смертью. И я ничего не могу сделать. Пока еще – не могу.

Может быть, мы попадаем в ад не за те поступки, которые совершили. Может быть, мы попадаем в ад за поступки, которые не совершили.

У меня в туфлях хлюпает ледяная вода, нога вдруг перестает болеть. Я опускаю руку, скользкую от соплей и слез, и выключаю пейджер.

Когда мы найдем гримуар и если там будет какое-нибудь заклинание,

как воскрешать мертвых, может быть, мы его не сожжем. Не сразу.

Глава двадцать девятая

В полицейском протоколе не сказано, какой теплой была моя жена Джина в то утро. Какой она была теплой и мягкой под одеялом. Как я прижался к ней, едва проснувшись, а она перевернулась на спину и ее волосы рассыпались по подушке. Ее голова лежала не прямо, а чуть склонившись к плечу. От ее утренней кожи пахло теплом – так пахнет солнечный зайчик, который скачет по белой скатерти на столе в уютном ресторане на пляже в твой медовый месяц.

Солнце светило сквозь синие занавески, и от этого ее кожа казалась голубоватой. И ее губы – тоже. Тень от ресниц лежала на щеках. На губах застыла почти незаметная улыбка.

Все еще в полусне, я повернул ее голову лицом к себе и поцеловал ее в губы.

Ее шея, ее плечо были такими расслабленными и мягкими.

Не отрываясь от ее мягких и теплых губ, я задрал ей ночную сорочку.

Она как будто слегка раздвинула ноги, я потрогал рукой – внутри у нее было влажно и незажато.

Забравшись под одеяло, с закрытыми глазами, я провел языком там, где только что были мои пальцы. Влажными пальцами я раздвинул края ее гладкой розовой плоти и засунул язык еще глубже. Я помню, как я дышал – приливы вдохов, отливы выдохов. И как я прижимался губами к ней – на пике каждого вдоха.

Впервые за долгое время Катрин проспала спокойно всю ночь и ни разу не заплакала.

Я принялся целовать Джине живот. Потом – груди. Я положил один влажный палец ей в рот, другой рукой я ласкал ей соски. Тот, который я не ласкал рукой, я обнимал губами и легонько полизывал языком.

Голова Джине перекатилась набок, и я поцеловал ее за ухом. Потом раздвинул ногой ее ноги и вошел в нее.

Едва заметная улыбка у нее на губах, то, как ее губы раскрылись в последний момент, а голова еще глубже вжалась в подушку... она была такой мягкой и тихой. Это было так хорошо – в последний раз так хорошо было еще до рождения Катрин.

Я встал с кровати и пошел в душ. Потом тихонько оделся, стараясь не разбудить жену, и вышел из спальни, плотно прикрыв за собою дверь. В детской я поцеловал Катрин в висок. Потрогал подгузник – не надо ли

поменять. Солнце светило сквозь желтые занавески. Ее игрушки и книжки. Она была такой славной, такой хорошей.

В то утро я себя чувствовал самым счастливым человеком на свете.

Самым счастливым на свете.

И вот, здесь и сейчас. Элен спит на переднем пассажирском сиденье, а я пересел за руль. Сегодня ночью мы проезжаем Огайо, или Айову, или Айдахо. Мона спит на заднем сиденье. Розовые волосы Элен рассыпались у меня по плечу. Мона спит в неудобной скрюченной позе в зеркале заднего вида, спит в окружении своих книг и цветных фломастеров. Устрица тоже спит. Вот – моя жизнь сейчас. В горе и радости. В богатстве и бедности.

Это был мой последний счастливый день. Правду я узнал только вечером, когда вернулся домой с работы.

Джина лежала все в той же позе.

В полицейском протоколе это назвали бы сексуальным контактом с трупом.

Вспоминается Нэш.

Катрин лежала все так же тихо. Нижняя часть ее головы стала темно-красной.

Livor mortis. Окисленный гемоглобин.

Только когда я вернулся домой с работы, я понял, что сделал.

Здесь и сейчас. В запахе кожи в салоне машины Элен. Солнце только-только поднялось над горизонтом. Сейчас – тот же самый момент во времени, какой был тогда. Мы поставили машину под деревом, на зеленой улице, в квартале маленьких частных домов. Дерево цветет, и всю ночь на машину падали розовые лепестки и прилипали к росе. Машина Элен – розовая, словно выставочный экземпляр, вся в цветах, я смотрю сквозь маленькое пространство на лобовом стекле, еще не засыпанное цветами.

Бледный утренний свет, проникающий сквозь лепестки – розовый.

Розовый свет на Элен, Моне и Устрице, спящих.

Чуть впереди по улице – пожилая пара возится с цветами на клумбах у дома. Старик наполняет водой канистру. Старушка стоит на коленях, выпалывает сорняки.

Я включаю свой пейджер, и он сразу же начинает бибикать.

Элен дергается во сне и просыпается.

На пейджере высвечивается телефон. Этого номера я не знаю.

Элен выпрямляется на сиденье, сонно моргает и смотрит на меня. Потом смотрит на крошечные часики у себя на руке. На одной щеке у нее – продавленный красный след от изумрудной сережки-висюльки. Она смотрит на слой розовых лепестков на лобовом стекле. Запускает в волосы

руки с розовыми ногтями и взбивает прическу. Она говорит:

– Мы сейчас где?

Есть люди, которые все еще верят, что знание – сила.

Я говорю, что понятия не имею.

Глава тридцатая

Мона стоит у меня над душой. Тычет мне в лицо ярким рекламным проспектом и говорит:

– Давайте сходим туда. Ну пожалуйста. Всего на пару часов. Ну пожалуйста.

На фотографиях в брошюрке – люди на американских горках, они кричат и машут руками. Люди на электрических автомобильчиках на площадке, выложенной по периметру старыми автопокрышками. Люди с сахарной ватой и люди на лошадках на карусели. Люди на «чертовом колесе». Надпись большими буквами по верху страницы: «Страна смеха, отдых для всей семьи».

Вместо букв «А» и «О» – четыре смеющиеся клоунские рожицы. Мама, папа, сын и дочка.

Нам предстоит обезвредить еще восемьдесят четыре книжки. Это еще несколько дюжин библиотек по всей стране. Нам надо еще разыскать гrimuar. Воскресить мертвых. Или кастрировать всех поголовно. Или же уничтожить все человечество – у каждого свои понятия.

Надо столько всего еще сделать, столько всего исправить. Вернуться к Богу, как сказала бы Мона. Просто чтобы не нарушать равновесие.

Карл Маркс сказал бы, что мы должны превратить все растения и всех животных в своих врагов, и тогда то, что мы их убиваем, будет оправданно.

В сегодняшних газетах сообщают, что муж одной из манекенщиц задержан по подозрению в убийстве.

Я стою в телефонной будке у входа в библиотеку в маленьком провинциальном городе. Элен с Устрицей пошли потрошить книгу.

Мужской голос в трубке произносит:

– Отдел расследования убийств.

Я спрашиваю: кто говорит?

И он отвечает:

– Детектив Бен Дантон, отдел расследования убийств. – Он говорит: – Кто это?

Полицейский детектив. Мона назвала бы его моим спасителем, посланным, чтобы вернуть меня к человечеству. Этот – тот самый номер, который высвечивался у меня на пейджере уже несколько дней.

Мона переворачивает проспектик и говорит:

– Посмотри.

У нее в волосы вплетены обломки ветряных мельниц, радиобашен и железнодорожных эстакад.

На фотографиях клоуны обнимают улыбающихся детей. Родители держатся за руки и проезжают в крошечных лодках по Тоннелю Любви.

Она говорит:

– Да, поездка у нас рабочая, но это не значит, что надо все время работать.

Элен выходит из библиотеки и спускается по ступенькам, и Мона бросается к ней и говорит:

– Элен, мистер Стрейтор сказал, что можно.

Я прижимаю трубку к груди и говорю, что я этого не говорил.

Устрица выходит из библиотеки и встает за спиной Элен, чуть сбоку.

Мона тычет брошюркой в лицо Элен и говорит:

– Смотри, как там весело.

Детектив Бен Дантон говорит в трубке:

– Кто говорит?

Это было нормально – принести в жертву того мужика с машинками на трусах. Это было нормально – принести в жертву ту молодую женщину с цыплятками на фартуке. Скрыть от них правду, не избавить их от страданий. И принести в жертву вдовца очередной манекенщицы. Но пожертвовать собой ради того, чтобы спасти миллионы, – это другое дело.

Я говорю, что меня зовут Стрейтор и что он мне звонил на пейджер.

– Мистер Стрейтор, – говорит он. – Нам надо задать вам несколько вопросов. Вы не могли бы зайти?

Я спрашиваю: вопросов – о чем?

– Нам лучше поговорить лично, – отвечает он.

Я говорю: это насчет смертей?

– Когда вы сможете к нам зайти? – отвечает он.

Я говорю: это насчет смертей без очевидной причины?

– Лучше раньше, чем позже, – говорит он.

Я говорю: это не потому, что среди тех, кто умер, был мой сосед сверху и трое моих сослуживцев?

И Дантон говорит:

– Что?

Я говорю: это не потому, что я проходил мимо по улице, в тот момент, когда умерли еще трое?

И Дантон говорит:

– Для меня это новость.

Я говорю: это не потому, что я был в том баре на Третьей авеню, как

раз в тот момент, когда умер тот молодой человек с бачками?

– Э, – говорит он. – Марти Латанзи.

Я говорю: это не потому, что на телах манекенщиц обнаружены признаки сексуальных контактов, произведенных уже после смерти, – такие же признаки, как и на теле моей жены двадцать лет назад? И я даже не сомневаюсь, что у них есть видеозапись, как я разговаривал с библиотекарем Саймоном в тот момент, когда он так скоропостижно скончался.

Мне слышно, как на том конце линии скрипит карандаш. Детектив Бен Дантон быстро записывает за мной.

Мне слышно, как кто-то еще, в той же комнате, рядом с телефоном, говорит:

– Держи его на линии.

Я говорю: это что – хитрый ход, чтобы арестовать меня по обвинению в убийстве?

Детектив Бен Дантон говорит:

– Лучше не доводить до того, чтобы мы взяли ордер о принудительном приводе.

Не важно, сколько людей умирает, все равно все остается по-прежнему.

Я говорю: офицер Дантон, вы мне не скажете, где вы сейчас находитесь – в этот самый момент?

Палки и камни могут и покалечить, опять то же самое. Все происходит само собой. Непроизвольно, как крик. Баюльная песня звучит у меня в голове, и в трубке вдруг – тишина.

Я убил своего спасителя. Детектива Бена Дантона. Я отошел от человечества еще на шаг.

Конструктивная деструкция.

Устрица трясет свою пластиковую зажигалку, бьет ее о ладонь. Потом отдает ее Элен. Она достает из сумочки сложенный листок. Поджигает страницу 27 и держит ее над водосточным желобом.

Мона читает проспект, и Элен подносит к нему горящую бумажку. Фотографии счастливых улыбающихся семей вспыхивают ярким пламенем, Мона кричит и роняет брошюрку. Держа горящую бумажку, Элен подпихивает горящий проспект ногой к водосточному желобу. Огонь у нее в руке разгорается все сильнее, дым вьется по ветру.

Совершенно без всякой связи мне вспоминается Нэш и его горящая салфетка.

Элен говорит:

— Мы здесь не веселимся. — Свободной рукой она передает мне ключи от машины.

И вот тут оно и происходит. Устрица хватает Элен рукой за шею и пытается сбить ее с ног. Она раскидывает руки, чтобы удержать равновесие, и он вырывает у нее горящий листок. Баюльную песню.

Элен падает на колени, выскоцив из захвата Устрицы. Она вскрикивает от боли, ударившись коленями об асфальт, и сползает с тротуара в канаву. Ключи от машины — по-прежнему у нее в кулаке.

Устрица колотит горящим листком себе по бедру, чтобы сбить огонь. Держа листок обеими руками, он быстро пробегает глазами по строчкам, пока они окончательно не сгорели.

Он бросает листок только тогда, когда огонь добирается до его рук. Он кричит:

— Нет! — и сует обожженные пальцы в рот.

Мона отступает назад, зажимая руками уши. Ее глаза плотно зажмурены.

Элен стоит на четвереньках на решетке водостока, возле догорающей брошюрки. Она смотрит на Устрицу снизу вверх. Можно сказать, он уже покойник. Прическа у Элен растрепалась, и розовые пряди свисают ей на глаза. Колготки порваны на коленях. Колени содраны в кровь.

— Не убивай его! — кричит Мона. — Пожалуйста, не убивай его! Не убивай!

Устрица падает на колени и хватает сожженный листок.

Медленно, очень медленно, как часовая стрелка на циферблате, Элен поднимается на ноги. Лицо у нее — все красное. Но красное не как бирманский рубин, а скорее как кровь у нее на коленях.

Устрица стоит на коленях. Элен стоит над ним. Мона зажимает руками уши, плотно зажмурив глаза. Устрица перебирает в руках пепел. Элен истекает кровью. Я наблюдаю за этой сценой из телефонной будки. С крыши библиотеки снимается стайка дроздов.

Устрица — злобный, капризный и вспыльчивый сын, который был бы у Элен, если бы у нее был сын.

Все то же стремление к власти.

— Ну, давай, — говорит Устрица. Он поднимает голову и смотрит в глаза Элен. Он улыбается уголком рта и говорит: — Ты убила своего настоящего сына. Убей и меня.

И вот тут оно и происходит. Элен бьет его по лицу кулаком с зажатыми в нем ключами. Через секунду — еще больше крови.

Еще один исцарапанный паразит. Еще один искалеченный шкаф.

Элен отрывается взгляд от окровавленного лица Устрицы и смотрит в небо, на стайку дроздов. Птицы падают вниз, одна за другой. Их черные перья кажутся маслянисто-синими. Их мертвые глаза – как стеклянные черные бусины. Устрица подносит руки к лицу, обе руки – в крови. Элен смотрит на небо. Мертвые черные птицы падают на асфальт. Вокруг нас.

Конструктивная деструкция.

Глава тридцать первая

Примерно в миле от города Элен съезжает на обочину шоссе. Включает аварийные сигналы. Смотрит на свои руки на руле – на руке в мягких обтягивающих перчатках из телячей кожи. Она говорит:

– Выходи из машины.

На лобовом стекле – мелкие капельки. Начинается дождь.

– Хорошо, – говорит Устрица и рывком распахивает свою дверцу. Он говорит: – Кажется, именно так поступают с собаками, которых не удалось научить проситься писать на улицу.

Его лицо и руки – в корке засохшей крови. Дьявольское лицо. Его растрепанные белые волосы торчат надо лбом, жесткие и красные, как рожки дьявола. Рыжая козлиная бородка. Среди всей этой красноты его глаза – белые-белые. Но белые не как белые флаги, которые означают, что противник сдается. Они белые, как белок сваренного вкрутую яйца от искалеченной курицы в инкубаторской клетке, яйца от массового производства страданий, печали и смерти.

– Точно так же Адама и Еву изгнали из райского сада, – говорит Устрица. Он стоит на полосе гравия у шоссе. Он наклоняется к окошку и спрашивает у Моны, которая так и сидит на заднем сиденье: – Ты идешь, Ева?

Тут дело не в любви, тут дело во власти.

Солнце садится у Устрицы за спиной. У него за спиной – поташник, ракитник метельчатый и пуэрария. У него за спиной – весь мир в беспорядке.

И Мона с обломками западной цивилизации, вплетенными в волосы, с кусочками распущенного ловца снов и монетками И-Цзын, смотрит на свои руки с черными ногтями, сложенные на коленях, и говорит:

– Устрица, то, что ты сделал, – это было неправильно.

Устрица протягивает руку в красных подтеках крови, тянется к Моне и говорит:

– Шелковица, несмотря на все твои травяные благие намерения, из этой поездки ничего не получится. – Он говорит: – Пойдем со мной.

Мона сжимает зубы, смотрит на Устрицу и говорит:

– Ты выбросил мою книгу по искусству индейцев. – Она говорит: – Она была мне нужна, эта книга.

Есть люди, которые все еще верят, что знание – сила.

– Шелковица, солнышко. – Устрица гладит ее по волосам, и волосы прилипают к его окровавленной руке. Он убирает прядь волос ей за ухо и говорит: – Эта книга была идиотской.

– Ну и ладно, – говорит Мона и отстраняется от него.

И Устрица говорит:

– Ну и ладно, – и захлопывает дверцу, оставляя на стекле кровавый отпечаток ладони.

Он отходит от машины. Качает головой и говорит:

– Забудь меня. Я – просто еще один Боженькин крокодильчик, которого можно спустить в унитаз.

Элен снимает скорость с нейтралки. Она нажимает какую-то кнопку, и дверца Устрицы закрывается на замок.

Снаружи закрытой машины, смазанно и приглушенно, Устрица кричит:

– Можешь спустить меня в унитаз, но я все равно буду жрать дермо. – Он кричит: – Буду жрать дермо и расти.

Элен включает поворотник и выруливает на шоссе.

– Можешь забыть меня, – кричит Устрица. Устрица с красным дьявольским лицом и большими белыми зубами. Он кричит: – Но это не значит, что меня не существует.

Совершенно без всякой связи мне вспоминается первый шелкопряд непарный, вылетевший в окошко в Медфорде, штат Массачусетс, в 1860-м.

Элен убирает одну руку с руля, прикасается пальцем к глазу и кладет руку обратно на руль. На пальце в перчатке – темно-коричневое пятнышко. Мокре пятнышко. В горе и радости. В богатстве и бедности. Это – ее жизнь.

Мона закрывает лицо руками и плачет в голос.

Я считаю – раз, я считаю – два, я считаю – три... я включаю радио.

Глава тридцать вторая

Городок называется Стоун-Ривер, Каменная Речка. Стоун-Ривер, штат Небраска. Так указано в карте. Но когда мы с Сержантом въезжаем в город, на щите-указателе написано совсем другое: «Шивапуром».

Небраска.

Население 17 000.

Посередине улицы, прямо по разделительной полосе, бредет бурая с белым корова, которую нам приходится объезжать. Корова невозмутимо жует свою жвачку и даже не смотрит на нашу машину.

Центр города представляет собой два квартала построек из красного кирпича. Светофор на пересечении двух главных улиц мигает желтым. Черная корова чешет бок о металлический столб стоп-знака. Белая корова жует циннии из горшков на окне почтового отделения. Еще одна корова лежит перед входом в полицейский участок, перегораживая тротуар.

Пахнет карри и пачули. Помощник шерифа обут в сандалии. Помощник шерифа, почтальон, официантка в кафе, бармен в таверне – у всех на лбу черная точка. Бинди.

– Господи, – говорит Сержант. – Весь город теперь исповедует индуизм.

Согласно последнему еженедельному «Альманаху загадочных явлений», это все из-за говорящей коровы-Иуды.

Самое главное на скотобойнях – обманом заманить коров на настил, который ведет непосредственно в «камеру смерти». Коров привозят с ферм, они растерянные и испуганные. После многих часов или дней в тесных перевозочных стойлах, обезвоженных и всю дорогу не спавших, коров выгружают на огороженную лужайку перед скотобойней.

Есть верный способ заставить коров войти внутрь: подослать к ним корову-Иуду. Их так действительно называют, таких коров. Эти коровы живут на бойнях. В общем, корову-Иуду выпускают в стадо обреченных коров, она ходит с ними по лужайке, а потом ведет их за собой на бойню. Растерянные, испуганные коровы никуда не пойдут, если их не поведет корова-Иуда.

В последний момент – когда остается всего один шаг до топора, или ножса, или стального прута, – корова-Иуда отходит в сторону. Ей

сохраняют жизнь, чтобы она повела на смерть очередное стадо. Она всю жизнь занимается только этим – из года в год.

Но вот, как написано в «Альманахе загадочных явлений», корова-Иуда на мясоперерабатывающем заводе в Стоун-Ривер однажды остановилась.

Она встала, перекрывая вход на бойню. Она отказалась отойти в сторону и обречь на смерть стадо, что шло за ней. На глазах у работников бойни корова-Иуда уселась на задние ноги, как обычно сидят собаки, – она уселась на входе, посмотрела на собравшихся людей своими печальными коровьими глазами и заговорила.

Корова-Иуда заговорила человеческими голосом.

Она сказала:

– Прекратите есть мясо, это дурной обычай.

У нее был голос как у молодой женщины. Коровы у нее за спиной ждали, переминаясь с ноги на ногу.

У работников скотобойни отвисли челюсти – так что у некоторых даже попадали сигареты, прямо на залитый кровью пол. Один мужчина проглотил свой жевательный табак. Одна женщина закричала, зажав рот ладонью.

Корова-Иуда, сидя на задних ногах, подняла переднюю ногу, указала копытом на работников бойни и сказала:

– Дорога к мокше пролегает не через боль и страдания других существ.

«Мокша», как объясняется в «Альманахе загадочных явлений», это индусское слово, означающее «искушение грехов, спасение», конец кармического цикла реинкарнаций.

Корова-Иуда проговорила весь день. Она сказала, что люди уничтожили мир природы. Она сказала, что люди должны прекратить истреблять животных. Число людей на Земле должно сократиться, людям необходимо выработать систему квот, согласно которой процентное соотношение людей к другим видам живых существ на планете должно быть резко снижено. Люди могут жить, как хотят, но с условием, что они не будут в большинстве.

Она говорила долго. Она научила их одной песне на хинди. Она заставила их петь хором, а сама дирижировала копытом.

Корова-Иуда ответила на все вопросы о жизни и смерти.

Она все говорила и говорила.

И вот, здесь и сейчас – мы с Серджантом опять опоздали. Мы снова – задним числом. Охотники на ведьм. Теперь, здесь и сейчас, мы наблюдаем за всеми коровами, выпущенными со скотобойни местного

мясоперерабатывающего завода. Завод на окраине города – пустой и тихий. Какой-то мужчина красит серое бетонное здание в розовый цвет. Превращает его в ашрам. На лужайке перед бывшей бойней разбит огород.

С того дня корова-Иуда не произнесла больше ни слова. Она пасется в частных дворах – щиплет травку. Пьет из ванночек для купания птиц. Жители города вешают ей на шею гирлянды из живых цветов.

– Они пользуются заклинанием временного захвата чужого тела, – говорит Сержант. Мы остановились, чтобы пропустить громадную, откормленную на убой свинью, которая медленно тащится через дорогу. Еще несколько свиней и куриц стоят в тени от навеса перед хозяйственным магазином.

Заклинание временного захвата чужого тела позволяет «переселяться» в других людей и вообще во всякое живое существо – твое сознание входит в другое физическое тело, и оно полностью подчиняется твоей воле.

Я смотрю на него долго-долго и говорю: чья бы корова мычала...

– В людей, в животных, – повторяет Сержант. – В любое живое существо.

И я говорю: да, расскажи поподробнее.

Мы проезжаем мимо мужчины, который раскрашивает розовый ашрам, и Сержант говорит:

– По моему скромному мнению, реинкарнация – это просто еще один способ отсрочить неизбежное.

И я говорю: да, да, да. Это я уже слышал.

Сержант протягивает руку – морщинистую руку с пятнами на коже – и кладет ее поверх моей руки. Тыльная сторона ладони – вся в завитках седых волос. Пальцы холодные: оттого, что он долго держал в руке пистолет. Сержант сжимает мне руку и говорит:

– Ты меня все еще любишь?

И я говорю: а у меня есть выбор?

Глава тридцать третья

Толпы людей обтекают нас, женщины в маечках на бретельках с открытой спиной и мужчины в ковбойских шляпах. Люди едят яблоки в карамели на палочке и фруктовый колотый лед в бумажных трубочках. Повсюду – пыль. Кто-то наступает Элен на ногу, она убирает ногу и говорит:

– Я склоняюсь к мысли, что не важно, скольких людей я убиваю, – этого все равно мало.

Я говорю: давай не будем говорить о работе.

По земле тянутся толстые черные кабели. В темноте за пределами ярких огней моторы на дизельном топливе вырабатывают электричество. Пахнет соляркой, жареной картошкой, блевотиной и сахарной пудрой.

Это то, что сейчас называется весельем.

Сверху доносится крик. Мелькает Мона. Этот аттракцион называется «осьминог». Название мигает ярким неоном. Черные металлические штуковины, вроде как искореженные, перекрученные спицы, вертятся вокруг оси. В то же время они поднимаются и опускаются. На конце каждой спицы – сиденье, которое вертится на своей собственной оси. Сверху снова доносится крик и уплывает прочь. Черные с красным волосы развеиваются на ветру. Серебряные цепочки с амулетами на шее у Моны сбились на сторону. Она вцепилась обеими руками в перекладину безопасности.

Обломки западной цивилизации – орудийные башни, печные трубы – сыплются из Мониных волос. Монеты И-Цзын проносятся мимо, как пули.

Элен смотрит на Мону и говорит:

– Кажется, Мона получила свое заклинание, чтобы летать.

У меня снова бибикает пейджер. Тот же номер, что был у полицейского детектива. Новый спаситель уже пытается сесть мне на хвост.

Не важно, сколько людей умирает, все равно все остается по-прежнему.

Я отключаю пейджер.

Глядя на Мону, Элен говорит:

– Плохие новости?

Я говорю: да так, ерунда. Ничего срочного.

На своих розовых шпильках Элен проходит по грязи и древесным

опилкам, переступая через черные кабели.

Я протягиваю ей руку:

– Давай.

И она берет мою руку. И я держу ее и не отпускаю. И она вроде не против. Мы идем рука об руку. И это славно.

У нее осталось лишь пара-тройка больших перстней, так что это совсем не так больно, как можно было бы предположить.

Вертящиеся карусели поднимают ветер. Огни белые, как бриллианты, зеленые, как изумруды, красные, как рубины, огни синие, как бирюза и сапфиры, желтые, как цитроны, оранжевые, как медовый янтарь. В динамиках на столбах, понатыканых везде и всюду, грохочет рок-музыка.

Эти рок-голики. Эти тишина-фобы.

Я спрашиваю у Элен, когда она в последний раз каталась на «чертовом колесе».

Повсюду – мужчины и женщины. Держатся за руки, целуются. Кормят друг друга ошметками розовой сахарной ваты. Идут в обнимку, засунув руку в задний карман тугих джинсов партнера или партнерши.

Глядя на толпу, Элен говорит:

– Не пойми меня неправильно, но когда ты – в последний раз?

В последний раз – что?

– Ты знаешь.

Я не уверен, идет ли в расчет мой последний раз, но это было лет восемнадцать назад.

И Элен улыбается и говорит:

– Неудивительно, что у тебя такая походка. – Она говорит: – А у меня это было в последний раз двадцать лет назад, а потом Джона не стало.

На земле, среди древесных опилок и кабелей, валяется смятый газетный листок. В газете – объявление шириной в три колонки:

**ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ АГЕНТСТВА «ЭЛЕН БОЙЛЬ.
ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ»**

В объявлении сказано: «Вам продали дом с привидениями? Если так, то звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд».

Номер мобильного Устрицы. И я спрашиваю у Элен: зачем ты ему рассказала?

Элен смотрит на объявление сверху вниз. Вдавливает его в грязь своей

розой шпилькой и говорит:

– По той же причине, почему я его не убила. Иногда он бывает таким обаятельным.

Рядом с объявлением, втоптаным в грязь, – фотография еще одной мертвой модели.

Элен смотрит на «чертово колесо», на кабинки, мигающие красными и белыми огоньками. Она говорит:

– Выглядит очень заманчиво.

Служитель останавливает колесо, и мы с Элен садимся на красные пластиковые сиденья, и служитель закрепляет перекладины безопасности поперек наших колен. Он отходит к своей кабинке и тянет за рычаг. Включается дизельный мотор. «Чертово колесо» дергается, как будто оно сейчас будет крутиться в другую сторону, и мы с Элен поднимаемся в темноту.

Где-то на середине пути к темному небу колесо вдруг дергается и останавливается. Наша кабинка качается, и Элен хватается за перекладину безопасности. С ее пальца срывается перстень с бриллиантом и падает вниз – мимо огней и стальных распорок, мимо мерцания и смеющихся лиц, – прямо в мотор с врачающимися шестернями.

Элен провожает его глазами и говорит:

– Почти тридцать пять тысяч долларов.

И я говорю: может быть, с ним ничего не случится. Ведь это бриллиант.

А Элен говорит: в этом-то и проблема. Бриллианты – самые твердые из всех твердых тел, которые существуют в природе, но их все-таки можно разбить. Они выдерживают постоянное давление, но внезапный, резкий и сильный удар может разбить их в пыль.

Внизу стоит Мона. Она побегает и встает прямо под нашей кабинкой. Она машет руками, скакет на месте и кричит:

– Ух ты! Где Элен?!

Колесо дергается и снова приходит в движение. Сиденье качается, и сумочка Элен скользит по пластмассе и почти падает вниз, но Элен успевает ее подхватить. В сумочке так и лежит серый камушек. Дар от ковена Устрицы. Элен успевает спасти сумку, но ее ежедневник все-таки срывается вниз, раскрывается в воздухе, шелестя страницами, и падает в опилки. Мона бежит к нему и поднимает.

Она бьет ежедневником о бедро, чтобы стряхнуть с него пыль и опилки, и поднимает его над головой, чтобы мы видели, что все в порядке.

Элен говорит:

– Благослови, Господи, Мону.

Я говорю: Мона мне говорила, что ты собираешься меня убить.

А Элен говорит:

– А мне она говорила, что ты хочешь убить меня.

Мы смотрим друг другу в глаза.

Я говорю: благослови, Господи, Мону.

А Элен говорит: купишиь мне воздушной кукурузы в карамели?

Внизу, на земле – которая все дальше и дальше, – Мона листает страницы ежедневника. Ежедневно – имена жертв Элен.

Сквозь цветные мигающие огоньки мы смотрим на черное небо. Теперь мы чуточку ближе к звездам. Мона однажды сказала, что звезды – это самое лучшее, что есть в жизни. На той стороне, куда мы уходим, когда умираем, звезд не бывает.

Думай о безграничном открытом космосе, о пронзительном холде и тишине. О небесах, где награда за все – тишина.

Я говорю Элен, что мне надо вернуться домой и доделать кое-какие дела. Причем надо вернуться как можно скорее, пока все не сделалось еще хуже.

Мертвые манекенщицы. Нэш. Полицейские детективы и все такое. Я не знаю, где и как он раздобыл баульные чары.

Мы поднимаемся выше и выше, дальше и дальше от запахов, от гула дизельного мотора. Мы поднимаемся к холду и тишине. Мона, читающая ежедневник, становится все меньше и меньше. Толпы людей, их деньги, и локти, и ковбойские сапоги – все становится меньше. Киоски с едой и туалетные кабинки. Крики и музыка – меньше.

На самом верху. Колесо дергается и замирает. Кабинка качается все слабее и замирает тоже. Здесь, наверху, ночной ветер играет с розовыми волосами Элен. Неоновый свет, жир и грязь – отсюда, сверху, все кажется совершенным. Совершенным, надежным и безопасным. Счастливым. Музыка – просто приглушенный ритм. Бум-бум-бум.

Вот так и надо смотреть на Бога.

Глядя вниз на вертящиеся карусели, на взвихренные огоньки и крики, Элен говорит:

– Я рада, что ты узнал обо мне всю правду. Наверное, я все время надеялась, что кто-то меня раскроет. – Она говорит: – И я рада, что это ты.

Ее жизнь не такая уж и плохая, говорю я. У нее есть драгоценности. У нее есть Патрик.

– И все-таки, – говорит она. – Хорошо, когда есть человек, который знает все твои тайны.

Сегодня на ней голубой костюм, но голубой не как обычное яйцо дрозда, а как яйцо дрозда, которое ты находишь в лесу и переживаешь, что никто из него не вылупится, потому что птенец уже мертвый. А потом птенец все-таки вылупляется, и ты переживаешь, что делать дальше.

Элен кладет руку поверх моей руки и говорит:

– Мистер Стрейтор, а имя у тебя есть?

Карл.

Я говорю: Карл. Карл Стрейтор.

Я спрашиваю, почему она тогда сказала, что я средних лет.

А Элен смеется и говорит:

– Потому что так оно и есть. Ты средних лет, я средних лет, мы оба.

Колесо снова дергается, и мы начинаем спускаться вниз.

Я говорю ей: твои глаза. Я говорю: они голубые.

Вот – моя жизнь.

Мы опускаемся до самого низа, и служитель поднимает перекладину безопасности. Я встаю и подаю руку Элен, помогая ей спуститься. Опилки мягкие и сыпучие, и мы пробираемся сквозь толпу, спотыкаясь на каждом шагу и обнимая друг друга за талию. Мы подходим к Моне, которая так и читает ежедневник.

– Пойдем искать воздушную кукурузу, – говорит Элен. – Карл обещал купить.

Мона держит в руках раскрытый ежедневник. Она поднимает глаза. Ее губы слегка приоткрыты. Она быстро моргает – раз, второй, третий. Она вздыхает и говорит:

– Гrimuar, который мы ищем… – Она говорит: – Кажется, мы его нашли.

Глава тридцать четвертая

Ведьмы, когда записывают заклинания, часто используют руны, особые символы тайного кода. По словам Моны, иногда заклинания записывают в обратную сторону, чтобы их можно было прочесть только в зеркале. Заклинания записывают по спирали, начиная от центра листа и раскручивая к краям. Их записывают, как таблички-проклятия в Древней Греции: одну строку – слева направо, вторую – справа налево, третью – опять слева направо, и так далее. Такой способ письма называется «бустрофедон», от греческих слов *bus* – «бык» и *strepho* – «поворачиваю», потому что он повторяет движения быка, впряженного в плуг, который ходит по полю туда-сюда. Существует и способ письма, копирующий движение змеи, когда каждая строчка пишется «змейкой» и строчки как бы расползаются в разные стороны.

Единственное правило – заклинания должны быть запутанными. Чем больше путаницы и недомолвок, тем сильнее будет заклятие. Заморочить, закружить, сплести чары – этим и занимаются ведьмы. Само по себе кружение на месте – очень сильное магическое действие. Бога-мага, покровителя ведьм и колдунов, Гефеста изображают со сплетенными или скрещенными ногами.

Чем больше путаницы и неясностей в заклинании, тем сильнее оно воздействует на намеченную жертву. Собьет ее с толку. Отвлечет внимание. Жертва растеряется. Застынет в недоумении. У нее собьется сосредоточенность.

Похоже на приемы Большого Брата с его песнями и плясками.

Все то же самое.

На гравиевой стоянке, на полпути между выходом из луна-парка и машиной Элен, Мона поднимает ежедневник над головой, так чтобы огни луна-парка светили сквозь одну страницу. Сначала видно только то, что Элен записала на этот день: дата, имя – капитан Антонио Кэппелл – и напоминания о встречах по делам агентства. Но потом на странице проступает бледный узор из букв – красные слова, желтые предложения, синие абзацы, – в зависимости от того, какой отсвет ложится на лист.

– Невидимые чернила, – говорит Мона, все еще держа страницу на свету.

Бледные, как водяные знаки. Призрачные письмена.

– Меня переплет навел на мысль, – говорит Мона.

Переплет из темно-красной кожи, почти черной из-за того, что ежедневником пользуются постоянно.

– Это человеческая кожа, – говорит Мона.

Элен говорит, что нашла эту книгу в доме Бэзила Франки. Симпатичная старая книга, только пустая. Она купила ее вместе с домом. На обложке – черная пятиконечная звезда.

– Пентаграмма, – говорит Мона. – Это была чья-то татуировка. А этот маленький бугорок. – Она прикасается пальцем к точке на корешке. – Этот сосок.

Мона закрывает книгу, отдает ее Элен и говорит:

– Потрогай. Прислушайся к ощущениям. – Она говорит: – Это даже не древняя, это гораздо старее.

Элен открывает сумочку, достает пару кожаных белых перчаток с пуговицами на манжетах и говорит:

– Нет. Держи ее ты.

Мона смотрит на книгу, раскрытую у нее в руках, и перелистывает страницы туда-сюда. Она говорит:

– Если бы знать, что они использовали вместо чернил, я смогла бы ее прочитать.

Если писали уксусом или жидким аммиаком, говорит она, то надо сварить красную капусту и протереть страницу отваром – буквы проявятся малиновым цветом.

Если писали спермой, то написанное можно прочесть под флюоресцентным светом.

Я перебиваю: люди записывают заклинания спермой?

И Мона говорит:

– Только самые сильные заклинания.

Если писали раствором кукурузного крахмала, надо протереть страницу йодом.

Если писали лимонным соком, говорит Мона, нужно нагреть страницу, и тогда буквы проступят коричневым.

– А ты лизни, – говорит Элен. – Если кислое, значит, лимонный сок.

Мона резко захлопывает книгу.

– Это книга заклятий, который тысяча лет, книга, переплетенная в человеческую кожу и, возможно, написанная чьей-то древней спермой. – Она говорит Элен: – Так что ты ее оближи.

И Элен говорит:

– Ладно, я все поняла. Постарайся быстрее ее прочитать и перевести.

И Мона говорит:

– Это не я таскала ее с собой десять лет. Это не я ее уничтожала, не я писала поверх всего. – Она держит книгу обеими руками и сует ее Элен под нос. – Это древняя книга. Она написана на архаичном латинском и греческом. Плюс к тому – древние руны, теперь утраченные. – Она говорит: – Мне нужно время.

– Вот. – Элен открывает сумку, достает сложенную бумажку, отдает ее Моне и говорит: – Вот баюльная песня. Один человек, Бэзил Франки, ее перевел. Если сличить ее с заклинанием из книги, тогда будет проще перевести все остальные заклятия на том же языке. – Она говорит: – Как на Розеттском камне.

Мона протягивает руку, чтобы взять листок.

Но я вырываю листок у Элен и говорю: почему мы вообще затеяли эту дискуссию? Говорю, что я думал скануть книгу. Я разворачиваю листок. Это страница 27 из библиотечной книжки. Я говорю: надо сперва подумать. Подумать как следует.

Я говорю Элен: ты уверена, что хочешь так поступить с Моной? Это заклинание сломало жизни нам обоим. И потом, говорю я, что знает Мона, узнает и Устрица.

Элен надевает белые перчатки. Застегивает пуговички на манжетах, протягивает руку и говорит Моне:

– Отдай мне книгу.

– Но я могу ее расшифровать, – говорит Мона.

Элен трясет рукой и говорит:

– Нет, так будет лучше. Мистер Стрейтор прав. Для тебя все изменится, все.

Ночь искрится цветными огнями и дрожит криками.

И Мона говорит:

– Нет, – и прижимает книгу к груди.

– Видишь, – говорит Элен, – оно уже началось. Когда есть хоть какая-то власть, даже возможность власти, тебе сразу хочется большего.

Я говорю Моне, чтобы она отдала книгу Элен.

Мона поворачивается к нам спиной и говорит:

– Это я ее нашла. Я – единственная, кто может ее прочитать. – Она оборачивается, смотрит на меня через плечо и говорит: – А ты... ты хочешь ее уничтожить, чтобы состряпать статью для своей газеты. Хочешь, чтобы все разрешилось, чтобы можно было об этом писать.

И Элен говорит:

– Мона, котик, не надо.

Мона оборачивается через другое плечо, смотрит на Элен и говорит:

– А тебе хочется власти над миром. Чтобы править единолично. Для тебя главное – власть и деньги. – Она обнимает книгу обеими руками, выставив плечи вперед; кажется, что она обнимает ее всем телом. Она смотрит на книгу и говорит: – Я – единственная, кто понимает, кто ценит ее за то, что она собой представляет.

Я говорю ей: послушай, Элен.

– Это Книга Теней, – говорит Мона, – настоящая Книга Теней. Она должна быть у настоящей ведьмы. Дайте мне перевести ее. Я вам все расскажу, что удастся понять. Обещаю.

Я складываю страничку с баюльной песней и убираю ее в задний карман. Делаю шаг в направлении Моны. Смотрю на Элен, и она кивает.

По-прежнему спиной к нам, Мона говорит:

– Я верну Патрика. – Она говорит: – Я верну всех малышей.

Я хватаю ее сзади за талию и приподнимаю над землей. Мона визжит, колотит меня каблуками по голеням и все извивается, пытаясь вырваться, но книгу она держит крепко, и я пропускаю руки у нее под мышками и вцепляюсь в книгу, в мертвую человеческую кожу. Прикасаюсь к мертвому соску. К соскам Моны. Мона орет благим матом и впивается ногтями мне в руки, мягкая кожа у меня под руками. Она впивается ногтями мне в руки, и я хватаю ее за запястья и резко дергаю ее руки вверх. Книга падает, Мона, брыкаясь, случайно отпинывает ее ногой, и никто этого не замечает – на темной стоянке, под аккомпанемент воплей из луна-парка.

Это – жизнь, которая есть у меня. Это – дочка, которую я знал, что когда-нибудь потеряю. Она меня бросит ради бойфренда. Ради дурных пристрастий. Ради наркотиков. Почему-то все всегда происходит именно так. Борьба за власть. Не важно, каким замечательным и прогрессивным отцом ты себя считаешь, все равно все когда-нибудь кончится именно так.

Убить тех, кого любишь, это не самое страшное. Есть вещи страшнее.

Книга падает на гравий, подняв облако пыли.

Я кричу Элен, чтобы она взяла книгу.

Мона все-таки вырывается, и мы с Элен отступаем. Элен держит книгу, я оглядываюсь по сторонам, нет ли кого поблизости.

Сжимая кулаки, Мона бросается следом за нами, ее красные с черным волосы падают ей на лицо. Серебряные цепочки и амулеты запутались в волосах. Оранжевое платье все перекрученено, ворот с одной стороны разодран, так что видно голое плечо. Когда она брыкалась, у нее слетели босоножки, так что теперь она босиком. Ее глаза за темными скрученными волосами. В ее глазах отражаются цветные огни луна-парка, крики отдыхающих вдалеке могли бы быть эхом ее собственных криков, которые

звучат и звучат – навсегда.

Вид у нее свирепый. Свирапая ведьма. Колдунья. Злая и разъяренная. Она больше не моя дочь. Теперь она – кто-то, кого мне никогда не понять. Чужая.

Она щедит сквозь зубы:

– Я бы могла вас убить. Вас обоих.

Я провожу рукой по волосам. Поправляю галстук и заправляю выбившуюся рубашку в штаны. Я считаю – раз, я считаю – два, я считаю – три, и говорю ей: нет, но мы можем убить *тебя*. Я говорю, что она должна извиниться перед миссис Бойль.

Это то, что теперь называется супервой любовью.

Элен стоит, держа книгу в руках в перчатках, и смотрит на Мону.

Мона молчит.

Дым от дизельных генераторов, крики, рок-музыка и цветные огни делают все, чтобы разбить тишину. Звезды в ночном небе молчат.

Элен оборачивается ко мне и говорит:

– Со мной все в порядке. Пойдем. – Она достает ключи от машины и отдает их мне. Мы с Элен отворачиваемся от Моны и идем к машине. Но когда я оглядываюсь, я вижу, что Мона смеется, прикрывая лицо руками.

Она смеется.

Она видит, что я на нее смотрю, и перестает смеяться. Но она все равно улыбается.

И я говорю ей: чего ты лыбишься? С чего бы ей лыбиться, черт побери?

Глава тридцать пятая

Я за рулем. Мона сидит сзади, сложив руки на груди. Элен сидит рядом со мной на переднем сиденье, держит на коленях открытый гримуар и периодически подносит его к окну, чтобы рассмотреть страницы на свет. На переднем сиденье между нами трезвонит ее мобильный.

У нее дома, говорит Элен, еще сохранилась вся справочная литература из поместья Бэзила Франки. В том числе словари греческого, латинского и санскрита. Книги по древней клинообразной письменности. По всем мертвым языкам. Это может помочь в переводе гримуара. Используя баульное заклинание как ключ от шифра, как Розеттский камень, она, может быть, и сумеет перевести все.

Ее мобильный так и звонит.

В зеркале заднего вида Мона ковыряет в носу и скатывает козявку в плотный темный шарик. Она медленно поднимает глаза и упирается взглядом в затылок Элен.

Мобильный Элен так и звонит.

Мона щелчком отправляет козявку в розовые волосы Элен.

Мобильный так и звонит. Не отрывая глаз от гримуара, Элен подталкивает телефон ко мне. Она говорит:

– Скажи им, что я занята.

Это могут звонить из Государственного департамента США, с новым заданием. Это могут звонить от любого другого правительства, по делу «плаща и кинжала». Нужно срочно нейтрализовать какого-нибудь наркобарона. Или отправить на бессрочную пенсию какого-нибудь мафиози.

Мона открывает свою Зеркальную книгу, свой ведьминский дневник, и что-то там пишет цветными фломастерами.

На том конце линии – женский голос.

Это твоя клиентка, говорю я, прижав трубку к груди. Она говорит, что вчера ночью у них по лестнице катилась отрубленная голова.

Не отрываясь от гримуара, Элен говорит:

– Это особняк в голландском колониальном стиле. Пять спален. На Финей-драйв. – Она говорит: – Она докатилась до самого низа или исчезла еще на лестнице, голова?

Я спрашиваю у женщины в телефоне.

Я говорю Элен: да, она исчезла где-то на середине лестницы. Жуткая

окровавленная голова с хитрой усмешкой.

Женщина в трубке что-то говорит.

И с выбитыми зубами, говорю я Элен. У нее очень расстроенный голос.

Мона пишет с таким нажимом, что фломастер скрипит по бумаге.

По-прежнему не отрываясь от гrimuara, Элен говорит:

– Она исчезла. Какие проблемы?

Женщина в телефоне говорит, что такое происходит каждую ночь.

– Пусть позовут священника, чтобы он изгнал бесов, – говорит Элен. Она подносит очередную страницу к свету и говорит: – Скажи ей, что меня нет.

Мона не пишет, а рисует картинку. На картинке – мужчина и женщина, пораженные молнией. Потом – те же мужчина и женщина, размазанные под гусеницами танка. Потом – те же мужчина и женщина, истекающие кровью через глаза. Мозги текут у них из ушей. На женщине – облегающий костюм и много-много украшений. У мужчины синий галстук.

Я считаю – раз, я считаю – два, я считаю – три...

Мона вырывает листок с рисунком и рвет его на тонкие полоски.

Мобильный снова звонит, и я опять отвечаю.

Прижимая трубку к груди, я говорю Элен, что это какой-то парень. Говорит, у него из душа вместо воды хлещет кровь.

Держа гrimuар на свету, Элен говорит:

– Дом на шесть спален на Пендер-корт.

И Мона говорит:

– На Пенден-плейс. На Пендер-корт – отрубленная рука, которая вылезает из мусорного бака. – Она чуть-чуть приоткрывает окно и сует в щелку обрывки рисунка. Обрывки мужчины и женщины.

– Нет, отрубленная рука – на Палм-корнерс, – говорит Элен. – А на Пендер-плейс – кусачий призрачный доберман.

Я говорю в телефон, чтобы мужчина на том конце линии не вешал трубку, и нажимаю на кнопку HOLD.

Мона закатывает глаза и говорит:

– Кусачий призрак – в испанском особняке на Милстон-бульвар. – Она что-то пишет у себя в книге красным фломастером, начиная от центра страницы и раскручивая слова по спирали к краям.

Я считаю – девять, считаю – десять, считаю – одиннадцать...

Элен щурится на страницу, которую прижимает к стеклу. Она говорит:

– Скажи им, что я уехала по делам. – Проводя пальцем под бледными строчками, она говорит: – В той семье, которая на Пендер-корт, у них дети-

подростки, правильно?

Я спрашиваю у мужчины в трубке, и он отвечает: да.

Элен оборачивается к Моне как раз в тот момент, когда Мона кидает ей в волосы очередную скатанную козюлю, и говорит:

– Скажи ему, что кровь из душа – это самая мелкая из его проблем.

Я говорю: может быть, просто поедем дальше? Мы могли бы объехать еще несколько библиотек. Увидеть что-нибудь интересное. Какой-нибудь памятник архитектуры. Или живописный пейзаж. Может, еще раз сходить в луна-парк. Мы вполне можем слегка расслабиться и доставить себе удовольствие. Когда-то мы были семьей, и мы опять можем стать семьей. Мы по-прежнему любим друг друга. Разумеется, гипотетически. Я говорю: как вам мое предложение?

Мона подается вперед и вырывает у меня клок волос. Потом вырывает несколько тонких прядей у Элен.

Элен наклоняется над гримуаром и говорит:

– Мона, мне больно.

У нас в семье, говорю я, мама, папа и я – в общем, у нас в семье мы решали почти все споры за партией в парчис^[1].

Мона вырывает страницу с красной спиральной надписью и заворачивает в нее каштановую и розовую пряди.

И я говорю Моне, что не хочу, чтобы она повторила мою ошибку. Глядя на нее в зеркало заднего вида, я говорю, что, когда мне было примерно столько же, сколько ей сейчас, я перестал разговаривать со своими родителями. Я не разговаривал с ними почти двадцать лет.

Мона протыкает английской булавкой листок, в который завернуты наши волосы.

Мобильный Элен звонит снова. Это какой-то мужчина. Молодой человек.

Это Устрица. И прежде чем я успеваю повесить трубку, он говорит:

– Привет, папаша, обязательно прочитайте завтрашние газеты. – Он говорит: – Там для вас небольшой сюрприз.

Он говорит:

– Передай трубку Шелковице, мне надо с ней поговорить.

Я говорю, что ее зовут Мона. Мона Саббат.

– Мона Штейнер, – говорит Элен, по-прежнему глядя на свет на страницу, пытаясь прочесть тайные письмена.

И Мона говорит:

– Это Устрица? – Она подается вперед, тянет руку и пытается вырвать у меня трубку. – Дай мне с ним поговорить. – Она кричит: – Устрица!

Устрица, гримуар у них!

Отбиваясь от Моны и пытаясь рулить одной рукой – машина при этом виляет из стороны в сторону, – я выключаю телефон.

Глава тридцать шестая

У меня дома. Вместо влажного пятна на потолке – большая белая блямба. На входной двери пришпилена записка от квартирного хозяина. Вместо шума – полная тишина. Ковер усыпан обломками твердого пластика, разломанными дверями и арматурой. Слышно, как жужжат нити накаливания в электрических лампочках. Слышно, как тикают часики на руке.

Молоко в холодильнике скисло. Боль и страдания пропали всуе. Сыр посинел от плесени. Фарш посерел в упаковке. Яйца с виду нормальные, но на самом деле нет – прошло столько времени, они просто не могли не испортиться. Все усилия, все горести, вложенные в эти продукты, отправятся на помойку. Все страдания несчастных коров и телят – все напрасно.

В записке от хозяина сказано, что белая блямба на потолке – это временное покрытие. Когда пятно перестанет сочиться влагой, тогда потолок покрасят уже нормально. Батареи выкручены на полную мощность, чтобы пятно поскорее просохло. Вода в бачке унитаза испарилась наполовину. Растения засохли. Из труб несет гнилью. Моя прежняя жизнь, все, что я называл своим домом, пахнет дерьямом.

Белая блямба замазки на потолке не дает просочиться в квартиру тому, что осталось от моего соседа сверху.

Остается еще тридцать девять неучтенных экземпляров книжки с баюльной песней. В библиотеках, в книжных магазинах, у кого-то дома.

Сегодня Элен – у себя в офисе. Там мы с ней и расстались. Когда я ухожу, она сидит за столом, обложившись словарями: латинским, греческим и санскритом. Сидит, промакивает страницы ваткой с раствором йода, и невидимые слова проступают красным.

Ваткой с соком красной капусты она промакивает другие невидимые слова, и они проступают малиновым.

Рядом с пузыречками, ватными шариками и словарями стоит лампа странной конструкции. От лампы к розетке тянется шнур.

– Флюороскоп, – говорит Элен. – Взяла напрокат. – Она щелкает выключателем сбоку, направляет свет на открытый гримуар и переворачивает страницы, пока на одной из них не проступают сияющие розовые слова. – Это написано спермой.

Все заклинания написаны разными почерками.

Мона сидит у себя за столом в приемной. После луна-парка она не сказала нам ни единого доброго слова. Радиосканер выдает один чрезвычайный код за другим.

Элен кричит Моне:

– Как назвать демона другим словом?

И Мона отвечает:

– Элен Гувер Бойль.

Элен смотрит на меня и говорит:

– Видел сегодняшнюю газету? – Она отодвигает в сторону какие-то книги, и под ними лежит газета. На последней странице первой части – полностраничное объявление. Заголовок такой:

ВНИМАНИЕ, ВЫ ВИДЕЛИ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА?

Большую часть страницы занимает фотография, моя старая свадебная фотография двадцатилетней давности, где мы сняты с Джиной. Как я понимаю, снимок взяли из нашего свадебного извещения в каком-то древнем субботнем выпуске. Наша публичная клятва в любви и верности друг другу. Наши обеты и обещания. Древняя сила слов. Пока смерть не разлучит нас.

Под снимком текст: «Этого человека разыскивает полиция в связи с необходимостью прояснить некоторые моменты, связанные с недавними загадочными смертями. Ему сорок лет, рост пять футов и десять дюймов, вес сто восемьдесят фунтов, шатен, глаза карие. Он не вооружен, но тем не менее очень опасен».

Человек на снимке – такой невинный и юный. Это не я. Женщина мертва. Они оба – призраки.

Дальше сказано: «Называет себя «Карлом Стрейтором». Часто носит синий галстук».

И в самом конце: «Если вы знаете местонахождение этого человека, звоните по номеру 911 и спрашивайте полицию». Я не знаю, кто дал объявление: Устрица или полиция.

Мы с Элен смотрим на снимок, и она говорит:

– Жена у тебя была очень красивая.

И я говорю: да, была.

Пальцы Элен, ее желтый костюм, резной антикварный стол – все в пятнах от йода и сока красной капусты. Пятна пахнут аммиаком и уксусом. Элен держит над книгой флюоресцентную лампу и читает светящиеся

письмена, написанные древней спермой.

– Тут у меня заклинание полета, – говорит она. – А это, наверное, приворот на любовь. – Она листает страницы, которые пахнут аммиачной мочой и капустными газами. – Баюльные чары вот здесь. Древний язык зулу.

Мона в приемной разговаривает по телефону.

Элен легонько отталкивает меня от стола. Она говорит:

– Смотри. – Она закрывает глаза и стоит, прижав кончики пальцев к вискам.

Я спрашиваю, что должно произойти.

Мона в приемной заканчивает говорить и кладет трубку.

Гrimuar, раскрытый на столе, чуть-чуть сдвигается. Приподнимается сначала один уголок, потом – второй. Книга сама по себе закрывается, открывается снова, опять закрывается – все быстрее и быстрее, и вдруг приподнимается над столом. Не открывая глаз, Элен беззвучно, одними губами, шепчет слова заклинания. Книга поднимается к потолку и зависает там, шелестя страницами.

Радиосканер трещит и выдает:

– Подразделение семнадцать. – Он выдает: – Направляйтесь на Виденавеню, 5680, офис фирмы «Элен Бойль. Продажа недвижимости». Задержите мужчину для следственного допроса...

Гrimuar с грохотом падает на стол. Йод, аммиак, уксус, сок красной капусты разбрзганы по всей комнате. Бумаги и книги скользят на пол.

Элен кричит:

– Мона!

И я говорю: не убивай ее, пожалуйста. Не убивай ее.

Элен хватает меня за руку своей перепачканной рукой и говорит:

– Сейчас тебе лучше уйти. – Она говорит: – Помнишь, где мы с тобой встретились в первый раз? – Понизив голос, она говорит: – Встречаемся там же, сегодня в полночь.

У меня дома. Кассета на автоответчике кончилась. Счета так плотно набиты в почтовый ящик, что приходится их выковыривать ножом для масла.

На кухонном столе – торговый центр, недостроенный наполовину. Даже без коробки с картинкой можно понять, что это такое, из-за автомобильной стоянки рядом со зданием. Стены уже на месте. С одной стороны присутствуют окна и двери, в окнах вставлены стекла. Крыша и кондиционеры еще в коробке. Пластиковый пакет с деталями окружающего ландшафта еще не вскрыт.

Сквозь стены – вообще ничего. Ни единого звука. Все соседи как будто вымерли. После стольких недель в дороге в компании Элен и Моны я успел позабыть, как это важно – молчание и тишина.

Включаю телевизор. Какая-то черно-белая комедия про человека, который умер и вернулся с того света в облике осла. Вроде как он должен кого-то чему-то там научить. Чтобы спасти свою душу. Душа человека в теле осла.

У меня бибикает пейджер; полиция, мои спасители, насильно тащат меня к спасению.

Полиция или квартирный хозяин, это место явно находится под надзором.

По всему полу разбросаны раздавленные обломки лесопилки. Обломки железнодорожной станции в подтеках засохшей крови. Развороченная стоматологическая поликлиника. Смятый аэродром. Растворенный речной вокзал. Окровавленные обломки всего, что я так тщательно собирал, хрустят у меня под ногами. Все, что осталось от моей нормальной жизни.

Я выставляю часы на радио у кровати. Я сижу на полу по-турецки и сгребаю в кучу обломки заправочных станций и моргов, летних закусочных и испанских монастырей. Сгребаю в кучу кусочки, покрытые кровью и пылью, по радио играет какой-то свинг. По радио играет кельтский фолк, черный рэп и индийские ситары. На полу передо мной – куски санаториев и киностудий, зерновых элеваторов и нефтеперегонных заводов. По радио играет электронный транс, регги и вальс. Кусочки соборов, тюрем и армейских бараков – все в одной куче.

Я беру клей и тонкую кисточку и собираю вместе печные трубы и застекленные крыши, купола и минареты. Римские акведуки переходят в пентхаусы в стиле арт-деко, переходят в опиумные притоны, переходят в салуны с Дикого Запада, переходят в американские горки, переходят в провинциальные библиотеки Карнеги, переходят в постоянные дворы, переходят в лекционные аудитории.

После стольких недель в дороге в компании Элен и Моны я успел позабыть, как это важно – законченность и безупречность.

У меня в компьютере – наброски к последней статье о смертях в колыбельке. Эта такая тема, о которой родители-бабушки-дедушки очень боятся читать и не читать тоже боятся. На самом деле ничего нового тут не напишешь. Идея была в том, чтобы показать, как людиправляются со своим горем. Как они продолжают жить дальше. Сколько участия и душевных сил открыли в себе эти люди. Под таким вот углом.

Все, что мы знаем про синдром внезапной смерти младенцев, – что в этом явлении нет никакой системы. Ребенок может умереть у матери на руках.

Статья не закончена.

Лучший способ потратить жизнь зря – делать заметки. Лучший способ, как избежать настоящей жизни, – наблюдать со стороны. Присматриваться к деталям. Готовить репортаж. Ни в чем не участвовать. Пусть Большой Брат поет и пляшет тебе на забаву. Будь репортером. Наблюдательным очевидцем. Человеком из благодарной аудитории.

По радио вальс переходит в панк, переходит в рок, переходит в рэп, переходит в греко-иранские песнопения, переходит в камерную музыку. По телевизору объясняют, как варить на пару лосося. Там объясняют, почему утонул «Бисмарк».

Я склеиваю эркеры и крестовые своды, цилиндрические своды и плоские арки, лестничные пролеты и витражные окна, листовую сталь, деревянные фронтоны и ионические пилястры.

По радио играют африканские барабаны и французский шансон, все в одну кучу. На полу передо мной – китайские пагоды и мексиканские гасиенды, колониальные дома на Кейп-Код, все вперемешку. В телевизоре гольфист загоняет мяч в лунку. Какая-то женщина выигрывает десять тысяч долларов – за то, что помнит первую строчку Геттисбергского послания^[2].

Я помню мой самый первый дом: четырехэтажный особняк с мансардой и двумя лестницами, передней – для хозяев и черной – для прислуги. Там были стеклянные люстры с крошечными лампочками, присоединенными в батарейке. Там был паркетный пол в столовой, который я вырезал и клеил полтора месяца. Там был сводчатый потолок в музыкальном салоне, который моя жена Джина расписала облаками и ангелами – засиживалась допоздна несколько вечеров подряд. Там был камин с огнем из цветного стекла, подсвеченного мигающей лампочкой. Мы расставили на столе крошечные тарелочки, и Джина порой засиживалась до утра – расписывала их по краю розами. Это были ночи только для нас двоих, без радио и телевизора, Катрин спала, они казались такими важными, эти ночи. Только для нас двоих – счастливых людей с той самой свадебной фотографии. Тот дом мы делали для Катрин, ей на день рождения – на два годика. Он должен был быть безупречным. Должен был стать доказательством наших талантов. Шедевром, который нас переживет.

Запах клея, запах апельсинов с бензином смешивается с запахом деръма. Клей тонкой корочкой засыхает на кончиках пальцев, на пальцы налипли фигурные окна, балконы и кондиционеры. Рубашка облеплена

турникетами, эскалаторами и деревьями. Я делаю радио громче.

Весь труд, вся любовь, все усилия и время, вся моя жизнь – все вплюстую. Я сам уничтожил все, что хотел, чтобы меня пережило.

В тот вечер, когда я вернулся домой с работы и обнаружил их мертвыми, я оставил еду в холодильнике. Оставил одежду в шкафах. В тот вечер, когда я вернулся домой с работы и понял, что я надел... это был первый дом, который я растоптал. Наследство без наследника. Крошечные люстры, стеклянный огонь и расписанные тарелки. Они застряли у меня в подошвах, и вся дорога до аэропорта была усеяна дверцами, полками, стульями и окошками и полита кровью. Такой за мной протянулся след.

А дальше мой след обрывался.

Я сижу на полу, и у меня уже не хватает деталей. Все стены, перила и крыши собраны. А то, что стоит передо мной, представляет собой полную неразбираиху. В ней нет безупречности и завершенности, но это – то, что я сделал со своей жизнью. Правильно это, неправильно – я не знаю. Генерального плана не существует.

Можно только надеяться, что система все-таки проявится, но она проявляется далеко не всегда.

Если есть план, ты получаешь лишь то, что способен вообразить. Я же всегда надеялся на что-то большее.

По радио – громкие ноты французских рожков, стук телетайпа, диктор сообщает о смерти очередной манекенщицы. В телевизоре – ее фотография. На снимке она улыбается. Очередной бойфренд арестован по подозрению в убийстве. Вскрытие вновь показало признаки сексуального контакта, произведенного после смерти.

У меня снова бибикает пейджер. Номер моего очередного спасителя.

Я беру телефонную трубку липкой рукой, облепленной ставнями и дверями. Пальцем, облепленным водопроводными трубами, набираю номер, который я не могу забыть.

Трубку берет мужчина.

И я говорю: папа. Я говорю: это я, папа.

Я говорю ему, где я живу. Говорю ему имя, которым сейчас называюсь. Говорю ему, где я работаю. Я говорю, что я все понимаю, как это выглядит... Джина и Катрин мертвые, но я в этом не виноват. Я ничего не делал. Я просто сбежал.

Он говорит, что он знает. Он видел свадебную фотографию в сегодняшней газете. Он знает, кто я теперь.

Пару недель назад я проезжал мимо их дома. Я говорю, что я видел его и маму, как они возились в саду. Я поставил машину чуть дальше по улице,

под цветущим вишневым деревом. Моя машина – машина Элен – была вся покрыта розовыми лепестками. Я говорю, что они замечательно выглядят, они с мамой.

Я говорю, что я тоже по ним скучаю. Что я их тоже люблю. Я говорю, что со мной все в порядке.

Я говорю, что не знаю, что делать. Но, говорю я, все будет хорошо.

А потом я просто слушаю. Я жду, когда он перестанет плакать, чтобы сказать, что мне очень жаль.

Глава тридцать седьмая

Особняк Гартоллера в лунном свете. Дом в старинном английском стиле, восемь спален, четыре камина – все пустое и белое. Каждый шаг отдается эхом по полированному паркету. Света нет, в доме темно. Нет ни мебели, ни ковров – в доме холодно.

– Здесь, – говорит Элен. – Можно сделать все здесь, где нас никто не увидит. – Она щелкает выключателем и зажигает свет.

Потолок поднимается ввысь, так высоко, что он мог бы быть небом. Свет от висячей люстры размером с хрустальный метеозонд, свет превращает высокие окна в зеркала. Свет швыряет наши тени на деревянный пол. Это тот самый бальный зал площадью в полторы тысячи квадратных футов.

У меня больше нет работы. Меня ищет полиция. У меня в квартире воняет. Мою фотографию напечатали в газете. День я провел, прячась в кустах у входа в ожидании темноты. В ожидании Элен Гувер Бойль, которая скажет мне, что у нее на уме.

Она держит под мышкой гримуар. Страницы испачканы розовым и малиновым. Она открывает книгу и показывает мне заклинания, английский перевод записан черной ручкой под тарабарщиной оригинала.

– Произнеси его, – говорит она.

Заклинание?

– Прочитай его вслух, – говорит она.

И я спрашиваю: и что будет?

А Элен говорит:

– Только поосторожнее с люстрой.

Она начинает читать, ровно и монотонно, словно считает – словно это не слова, а цифры. Она начинает читать, и ее сумочка, что висит у нее на плече, медленно поднимается вверх. Все выше и выше. Вот уже ремешок натянулся, вот уже сумка парит у Элен над головой, как желтый воздушный шар.

Элен продолжает читать, и галстук поднимается у меня перед носом. Он поднимается, словно синяя змея из корзины, и задевает меня по носу. У Элен поднимается юбка, она хватает ее за подол и придерживает одной рукой. Она продолжает читать, и мои шнурки пляшут в воздухе. Висячие серьги Элен, жемчуга и изумруды, бьют ее по ушам. Жемчужное ожерелье кольшется у нее перед глазами и поднимается над головой, словно

жемчужный нимб.

Элен смотрит на меня и продолжает читать.

У меня жмет в подмышках – это поднимается куртка. Элен вдруг становится выше ростом. Теперь наши глаза – на одном уровне. И вот я уже смотрю на нее снизу вверх. Она парит в воздухе, приподнявшись над полом. С ее ноги падает желтая туфля и шлепается на паркет. Потом падает и вторая.

Элен продолжает читать, ее голос ровный и монотонный. Она смотрит на меня сверху вниз и улыбается.

И вдруг я чувствую, что мои ноги оторвались от пола. То есть сначала – одна нога. Вторая чуть не подворачивается, и я бью ногами, как это бывает в глубоком бассейне, когда тебе надо нащупать дно, чтобы оттолкнуться и всплыть. Я выбрасываю руки вперед. Я отталкиваюсь от пола, меня опрокидывает вперед, и вот я лежу в воздухе лицом вниз и смотрю на паркетный пол с высоты в шесть футов, с высоты в восемь футов. Мы с моей тенью расходимся в разные стороны. Тень остается внизу, она все меньше и меньше.

Элен говорит:

– Карл, осторожнее.

Что-то хрупкое и холодное обнимает меня. Острые кусочки чего-то шаткого и звенящего стекают по шее, путаются в волосах.

– Это люстра, Карл, – говорит Элен. – Осторожнее.

Моя задница утонула в хрустальных бусинах и подвесках, меня обвивает звенящий, подрагивающий осьминог. Холодные стеклянные ветви и поддельные свечи. Руки и ноги запутались в нитях хрустальных цепочек. Пыльные хрустальные грозди. Паутина и мертвые пауки. Горячая лампочка жжется даже сквозь рукав. Так высоко над полом. Я паникую и хватаюсь за стеклянную ветвь, и вся сияющая глыба раскачивается и звенит. Часть подвесок срывается вниз. А внутри всего – я.

И Элен говорит:

– Прекрати. Ты ее сорвешь.

И вот она уже рядом со мной, по ту сторону искрящейся хрустальной завесы. Ее губы беззвучно движутся, вылепливая слова. Она раздвигает руками звенящие бусины, улыбается мне и говорит:

– Для начала мы тебя выпрямим.

Книга куда-то делась. Элен сдвигает хрусталь в одну сторону и подплывает ближе.

Я держусь за стеклянную ветвь обеими руками. С каждым биением сердца миллионы хрустальных кусочков подрагивают и звенят.

— Представь, что ты под водой, — говорит она и развязывает шнурки у меня на ботинке. Снимает с меня ботинок и роняет его на пол. Своими руками в желтых и красных подтеках она развязывает шнурки на втором ботинке, и первый ботинок ударяется о пол внизу. — Давай, — говорит она и сует руки мне под мышки. — Сними куртку.

Она выбрасывает мою куртку из люстры. Потом — галстук. Сама снимает пиджак и роняет его на пол. Люстра сверкает вокруг миллионами крошечных хрустальных радуг. Сотни крошечных лампочек излучают тепло и запах горячей пыли. Все дрожит и искрится, а мы с Элен — в самом центре.

Мы купаемся в теплом свете.

Элен выговаривает свои беззвучные слова, и у меня ощущение, что сердце переполняется теплой водой.

Серьги Элен, все ее украшения сверкают ослепительными переливами. Сышен только хрустальный звон. Мы уже почти не раскачиваемся, и я отпускаю стеклянную ветку. Вокруг нас — миллионы мерцающих крошечных звезд. Наверное, именно так себя чувствует Бог.

И это тоже — моя жизнь.

Я говорю, что мне надо где-то укрыться. От полиции. Домой возвращаться нельзя. Я не знаю, что делать.

Элен протягивает мне руку:

— На.

Я беру ее руку. И она крепко держит меня. Мы целуемся. И это прекрасно.

И Элен говорит:

— Пока можешь остаться здесь. — Она проводит розовым ногтем по сияющему стеклянному шару, ограниченному так, что он отражает свет во всем направлениях. Она говорит: — Теперь для нас нет ничего невозможного. — Она говорит: — Ничего.

Мы целуемся, и она елозит мне по ногам ногами, стягивая носки. Мы целуемся, и я расстегиваю ее блузку. Мои носки, ее блузка, моя рубашка, ее колготки. Кое-что из вещей падает на пол, кое-что остается висеть на люстре.

Моя раздувшаяся воспаленная нога, засохшая корка на ободранных коленках Элен — ничего друг от друга не спрячешь.

Прошло двадцать лет, и вот он я — делаю то, что даже и не мечтал сделать снова, — и я говорю: кажется, я влюбляюсь.

И Элен, такая гладкая и горячая посреди звенящего света, улыбается мне, запрокидывает голову и говорит:

— Так и было задумано.
Я люблю ее. Люблю. Элен Гувер Бойль.
Мои брюки и ее юбка падают на пол, где уже разбросана другая
одежда, и наши туфли, и хрустальные подвески. Куда упал и гримуар.

Глава тридцать восьмая

Дверь в офисе «Элен Бойль. Продажа недвижимости» заперта. Я стучу, и Мона кричит сквозь стекло:

– Мы закрыты.

А я кричу, что я не клиент.

Мона сидит за компьютером и что-то печатает. После каждого двух-трех ударов по клавишам она поднимает глаза и смотрит на экран. На экране большими буквами набрано сверху страницы: «Резюме».

Радиосканер объявляет код девять-двенадцать.

Продолжая печатать, Мона говорит:

– Даже не знаю, почему я до сих пор не подала на вас заявление об оскорблении действием.

Я говорю: может быть, потому, что она хорошо к нам относится, ко мне и Элен.

И она говорит:

– Нет, не поэтому.

Может быть, потому, что ей нужен гримуар.

Мона молчит. Она разворачивается на стуле и приподнимает блузку. Кожа у нее на ребрах вся в малиновых кровоподтеках.

Суровая любовь.

Элен кричит из своего кабинета:

– Какие синонимы к слову «замученный»?

Ее стол весь заложен раскрытыми книгами. Под столом видно, что на ней разные туфли, одна – розовая, вторая – желтая.

Розовый шелковый диван, резной стол времен Людовика XIV у Моны, журнальный столик с ножками в виде львиных лап – все припорошено пылью. Цветы в букетах высохли и побурели, вода в вазах – черная и вонючая.

Радиосканер объявляет код три-одиннадцать.

Я говорю, что извиняюсь. Это было неправильно – так ее хватать. Я задираю штанины и показываю синяки у себя на голенях.

– Это другое, – говорит Мона. – Это была самозащита.

Я топаю ногой по полу и говорю, что нога уже лучше. Воспаление почти прошло. Я говорю ей спасибо.

И Элен говорит:

– Мона? Как покороче назвать человека, которого подвергали пыткам?

В одно слово?

Мона говорит:

– Когда ты будешь уходить, я выйду с тобой. Нам надо поговорить.

Элен у себя в кабинете зарылась в книгу. Это словарь древнееврейского языка. Рядом лежит учебник латинского. Под ним – исследование по арамейскому греческому. Тут же лежит страничка с баульной песней. Мусорная корзина рядом со столом доверху заполнена бумажными чашечками из-под кофе.

Я говорю: привет.

Элен поднимает глаза. На ее зеленом пиджаке, на лацкане – пятно от кофе. Рядом со словарем древнееврейского – открытый гримуар. Элен моргает, раз, второй, третий, и говорит:

– Мистер Стрейтор.

Я спрашиваю, не хочет ли она сходить куда-нибудь пообедать. Мне еще предстоит разобраться с Джоном Нэшем. Я надеялся, что она даст мне какое-нибудь полезное заклинание. Например, чтобы стать невидимым. Или чтобы подчинить себе волю другого человека. Может быть, мне не придется его убивать. Я зашел посмотреть, что она переводит.

Элен закрывает гримуар чистым листом бумаги и говорит:

– Сегодня я занята. – Она ждет, держа ручку в руке. Свободной рукой закрывает словарь. Она говорит: – А разве ты не скрываешься от полиции?

Я говорю: может быть, сходим в кино?

И она говорит:

– Только не в эти выходные.

Я говорю: может быть, я куплю билеты в консерваторию?

Элен машет рукой:

– Как хочешь.

Я говорю: замечательно. Стало быть, я приглашаю тебя на свидание.

Элен убирает ручку за ухо под взбитыми розовыми волосами. Открывает еще одну книгу и кладет ее поверх древнееврейского словаря. Держа палец на словарной статье, она поднимает глаза и говорит:

– Я не к тому, что ты мне не нравишься. Просто сейчас у меня правда нет времени.

Из-под листочка, которым прикрыт гримуар, видно имя. В самом низу страницы, на сегодняшний день. Имя сегодняшней жертвы. Карл Стрейтор.

Элен закрывает гримуар и говорит:

– Ты понимаешь.

Радиосканер объявляет код семь-два.

Я спрашиваю, может быть, вечером она придет ко мне в особняк

Гартоллера. Стоя в дверях ее кабинета, я говорю, что хочу снова быть с ней. Что она мне нужна.

А Элен улыбается и говорит:

– Так и было задумано.

В приемной Мона хватает меня за руку. Берет свою сумочку, вешает на плечо и кричит:

– Элен, я – обедать. – Мне она говорит: – Нам надо поговорить, но не здесь. – Она отпирает дверь, и мыходим на улицу.

Мы стоим возле моей машины. Мона качает головой и говорит:

– Ты хоть понимаешь, что с тобой происходит?

Я влюблен. Так убейте меня.

– В Элен? – Мона щелкает пальцами у меня перед носом и говорит: – Ты не влюблен. – Она вздыхает и говорит: – Ты, вообще, когда-нибудь слышал про любовные привороты?

Совершенно без всякой связи мне представляется Нэш, как он впендуриивает мертвым женщинам.

– Элен нашла заклинание, чтобы тебя приворожить, – говорит Мона. – Она тебя подчинила. На самом деле ты ее не любишь.

Правда?

Мона смотрит мне в глаза и говорит:

– Когда ты в последний раз думал о том, чтобы сжечь гримуар? – Она показывает на землю и говорит: – И это ты называешь любовью? Просто она нашла способ, чтобы тобой управлять.

Подъезжает машина. За рулем – Устрица. Он убирает волосы с глаз и просто сидит в машине, наблюдая за нами. Его светлые волосы растрепаны и всклокочены. На обеих щеках – по два длинных горизонтальных разреза. Алые шрамы. Боевая раскраска.

У него звонит мобильный, и он берет трубку:

– «Дональд, Домбра и Дурында», юридические услуги.

Большая борьба за власть.

Но я люблю Элен.

– Нет, – говорит Мона. Она смотрит на Устрицу. – Теперь просто кажется, что ты ее любишь. Она тебя обманула.

Но это любовь.

– Я знаю Элен дольше тебя, – говорит Мона. Она смотрит на часы. – Это не любовь. Это красивые сладкие чары, но она тебя порабощает.

Глава тридцать девятая

В Древней Греции люди считали, что мысли – это приказы свыше. Если в голову древнего грека приходила какая-то мысль, он был уверен, что ее ниспослали боги. Аполлон говорил человеку, что нужно быть храбрым.

Афина – что нужно влюбиться.

Теперь люди слышат рекламу картофельных чипсов со сметаной и бросаются их покупать.

Зажатый между радио, телевизором и колдовскими чарами Элен Гувер Бойль, я уже не понимаю, чего хочу по-настоящему. Я даже не знаю, доверяю ли я самому себе.

В ту ночь Элен отвозит меня на склад антиквариата – тот самый, где она искалечила столько мебели. Там темно, дверь заперта, но Элен кладет руку поверх замка, произносит что-то короткое и рифмованное, и дверь открывается. Сигнализация не включается. Ничего. Тишина. Мы углубляемся в лабиринт древней мебели. С потолка свисают темные неподключенные люстры. Лунный свет проникает внутрь сквозь стеклянную крышу.

– Видишь, как просто, – говорит Элен. – Мы можем *все*. Для нас теперь *нет ничего невозможного*.

Нет, уточняю я, это *она* может все. Для *нее* теперь нет ничего невозможного.

Элен говорит:

– Ты меня все еще любишь?

Если ей этого хочется. Я не знаю. Если она говорит.

Элен смотрит на темные люстры под потолком, подвесные клетки из позолоты и хрусталя и говорит:

– Может, того... по-быстрому? Хочешь?

И я говорю: кажется, у меня нет выбора.

Я уже не понимаю разницы между тем, чего я хочу, и тем, чего меня выдрессировали хотеть.

Я не знаю, чего я хочу по-настоящему и чего меня заставляют хотеть.

Заставляют обманом.

Я говорю о свободе воли. Есть у нас эта свобода или Бог нам диктует по заданному сценарию все, что мы делаем, говорим и хотим? Мы свободны в своих решениях или средства массовой информации и устоявшаяся культура контролируют наши желания и действия – начиная

буквально с рождения? Я свободен в своих устремлениях или я нахожусь под властью колдовских чар Элен?

Стоя перед ореховым шкафом эпохи Регентства с большими стеклянными дверцами, Элен проводит рукой по резному орнаменту и говорит:

– Давай будем бессмертными, ты и я.

Как эта мебель. В долгом странствии от жизни к жизни. А все, кто тебя любит, умирают у тебя на глазах. Вся эта мебель. Мы с Элен. Тараканы нашей культуры.

На стеклянной дверце – старая царапина от ее бриллиантового кольца. Из тех времен, когда она ненавидела этот бессмертный мусор.

Представьте бессмертие, когда даже брак длиной в полвека покажется приключением на одну ночь. Представьте, как моды сменяют друг друга, стремительно – не уследишь. Представьте, что с каждым веком в мире становится все больше и больше людей и в людях все больше и больше отчаяния. Представьте, как вы меняете религии и работы, места жительства и диеты, пока они окончательно не утратят ценность. Представьте, как вы путешествуете по миру из года в год, пока не изучите его весь, каждый квадратный дюйм, и вам станет скучно. Представьте, как все ваши чувства – любви и ненависти, соперничества и победы – повторяются снова и снова и в конце концов жизнь превращается в бесконечную мыльную оперу. Все повторяется снова и снова, пока рождения и смерти людей перестанут тревожить вас и волновать, как никого не волнуют увядшие цветы, которые выбрасывают на помойку.

Я говорю Элен, что, по-моему, мы уже бессмертны.

Она говорит:

– У меня есть сила. – Она открывает сумочку, достает сложенный листок бумаги, встряхивает его, чтобы развернуть, и говорит: – Знаешь, как гадают с помощью зеркала?

Я не знаю, что я знаю, а чего не знаю. Я не знаю, что правда, а что неправда. Наверное, я не знаю вообще ничего. Я говорю ей: расскажи.

Элен снимает с шеи шелковый шарф и протирает пыльную поверхность зеркала. Ореховый шкаф эпохи Регентства с резными украшениями из оливкового дерева и позолоченной фурнитурой времен Второй империи, согласно надписи на картонной карточке. Элен говорит:

– Ведьмы льют масло на зеркало и говорят заклинание, и в зеркале видно будущее.

Будущее, говорю я. Замечательно. Костер кровельный. Пуэрария. Речной окунь.

Сейчас я не уверен, что смогу разобрать настоящее.

Элен читает по листку бумаги. Ровным и монотонным голосом, так же, как она читала заклинание, чтобы летать. Всего несколько строк. Она опускает листок и говорит:

– Зеркало, зеркало, покажи нам, что с нами будет, если мы будем любить друг друга и воспользуемся нашей новой силой.

Ее новой силой.

– Со слов «зеркало, зеркало» я сама придумала, – говорит Элен. Она берет меня за руку и сжимает, но я не отвечаю на ее пожатие. Она говорит:

– Я попробовала еще в офисе, с зеркальцем в пудренице, но это все равно что смотреть телевизор через микроскоп.

Наши отражения в зеркале тускнеют и расплываются, сливаются в одно. В зеркале расплывается ровная серая дымка.

– Покажи нам, – говорит Элен, – покажи наше будущее вместе.

В сером мареве проступают фигуры. Свет и тени сплетаются вместе.

– Видишь, – говорит она. – Вот мы с тобой. Мы снова молоды. Я могу вернуть нам молодость. Ты такой же, как на фотографии в газете. На свадебной фотографии.

Все такое смутное, расплывчатое. Я не знаю, что я там вижу.

– Смотри, – говорит Элен. Она указывает подбородком на зеркало. – Мы правим миром. Мы основываем династию.

Нам все равно всего мало, мне вспоминаются слова Устрицы.

Власть, деньги, любовь, вдоволь еды и секса. Бывает так, чтобы когда-нибудь остановиться, или нам всегда этого мало? И чем больше мы получаем, тем больше хочется?

В зыбком тумане будущего я не различаю вообще ничего. Не вижу вообще ничего, кроме продолжения прошлого. Еще больше проблем, еще больше людей. Меньше биозахвата. Но больше страдания.

– Я вижу нас вместе, – говорит Элен. – Навсегда.

Я говорю: если тебе этого хочется.

И она говорит:

– Что это значит?

И я говорю: все, что тебе самой хочется, то и значит. Это ты у нас водишь марионетки за ниточки. Ты сажаешь семена будущих всходов. Ты меня колонизируешь. Оккупируешь. СМИ, наша культура – все откладывает яйца у меня под кожей. Большой Брат наполняет меня желанием удовлетворять потребности.

Нужен ли мне большой дом, быстрый автомобиль, тысяча безотказных красоток для секса? Мне действительно все это нужно? Или меня так

натаскали?

Все это действительно лучше того, что у меня уже есть? Или меня просто так выдрессировали, чтобы мне было мало того, что у меня уже есть, чтобы это меня не устраивало? Может, я просто под властью чар, которые заставляют меня поверить, что человеку всегда мало?

Серое марево в зеркале зыбится и клубится. Это может быть что угодно. Не важно, что ждет меня в будущем – все равно оно меня разочарует.

Элен берет меня за другую руку. Она держит меня за руки и разворачивает лицом к себе. Она говорит:

– Посмотри на меня. – Она говорит: – Тебе Мона что-нибудь говорила?

Я говорю: ты любишь только себя. А я не хочу, чтобы меня использовали. Мной и так уже пользовались достаточно.

Люстры под потолком тускло поблескивают серебром в лунном свете.

– Что она тебе наговорила? – спрашивает Элен.

Я считаю – раз, я считаю – два, я считаю – три...

– Не делай этого, – говорит Элен. – Я люблю тебя. – Она сжимает мне руки и говорит: – Не отгораживайся от меня.

Я считаю – четыре, считаю – пять, считаю – шесть...

– Ты в точности как мой муж, – говорит она. – Я просто хочу, чтобы ты был счастлив.

Это легко, говорю я ей. Просто заколдуй меня «на счастье».

Элен говорит:

– Нет такого заклинания, на счастье. – Она говорит: – Для этого есть наркотики.

Я не хочу, чтобы мир стал хуже. Я не хочу его портить. Я просто хочу разобрать тот бардак, который мы уже сотворили. Перенаселенность. Загрязнение окружающей среды. Баюльные чары. Та же магия, которая сломала мне жизнь, теперь должна ее исправить. По идее.

– И мы это можем, – говорит Элен. – У нас есть нужные заклинания.

Заклинания, чтобы исправить вред от заклинаний, исправляющих вред от других заклинаний, а жизнь становится все хуже и хуже. Мы даже представить себе не можем, насколько хуже. Вот оно – будущее, которое я вижу в зеркале.

Мистер Юджин Скиффелин со своими скворцами, Спенсер Бэйрд со своими карпами, история знает немало примеров, когда хорошие люди пытались исправить несовершенный мир, но делали только хуже.

Я хочу сжечь гримуар.

Я пересказываю Элен, что мне сказала Мона. Что она наложила на

меня заклятие, чтобы сделать меня своим бессмертным рабом-любовником на целую вечность.

– Мона тебе солгала, – говорит Элен.

Но откуда мне знать? Кому верить?

Серое марево в зеркале, будущее – может, оно для меня не ясно, потому что сейчас для меня вообще ничего не ясно.

Элен отпускает мои руки. Она разводит руками, как бы обнимая шкафы эпохи Регентства, столы времен Гражданской войны и вешалки в стиле итальянского ренессанса, и говорит:

– Но если реальность – это всего лишь чары, наваждение, если на самом деле ты вовсе не хочешь того, что, как тебе кажется, тебе хочется... – Она подходит ко мне вплотную и говорит: – Если у тебя нет свободы воли. Если ты даже *не знаешь*, что ты знаешь, а чего не знаешь. Если на самом деле ты *не любишь* того, кого, тебе *только кажется*, что любишь. Тогда что остается, ради чего стоит жить?

Ничего.

Есть просто мы – посреди всей этой мебели.

Думай о безграничном открытом космосе, о пронзительном холоде и тишине, где тебя ждут жена и ребенок.

И я говорю: пожалуйста. Я прошу у нее телефон.

В зеркале по-прежнему переливается серое марево. Элен открывает сумочку, достает свой мобильный и протягивает его мне.

Я открываю крышечку и набираю 9-1-1.

Женский голос на том конце линии:

– Полиция, пожарная охрана или «Скорая помощь»?

Я говорю: «Скорая помощь».

– Где вы находитесь? – говорит голос в трубке.

Я называю ей адрес бара, где мы встречались с Нэшем; бара рядом с больницей.

– Причина вызова?

Сорок танцорок из группы поддержки спортивной команды получили тепловой удар. Женской волейбольной команде срочно требуется искусственное дыхание по методу «рот в рот». Группе манекенщиц необходимо пройти обследование груди. Я говорю, что если они найдут полицейского врача по имени Джон Нэш, то пусть он немедленно выезжает. Если они не найдут Нэша, тогда не стоит беспокоиться.

Элен забирает у меня телефон. Она смотрит на меня, моргает – раз, второй, третий – и говорит:

– Что ты задумал?

Все, мне остается, может быть, единственный способ обрести свободу – сделать то, чего мне не хочется сделать. Остановить Нэша. Пойти в полицию и сознаться. Принять наказание.

Взбунтоваться против себя. Вот что мне нужно.

Противоположность погоне за счастьем. Мне нужно сделать что-то такое, чего я больше всего боюсь.

Глава сороковая

Нэш ест чили. Он сидит за самым дальним столиком в баре на Третьей авеню. Бармен лежит вниз лицом на стойке, его руки еще покачиваются над высокими табуретами. Двое мужчин и две женщины лежат вниз лицом на столе в кабинке. Их сигареты еще дымятся в пепельницах, они сгорели только наполовину. Еще один мужчина лежит в дверях туалета. Еще один мертвый мужчина растянулся на бильярдном столе, кий так и остался у него в руках. За баром кухня, там включено радио, но в динамике – одни помехи. Кто-то в грязном, заляпанном жиром переднике лежит лицом вниз на гриле среди гамбургеров, гриль потрескивает и дымится. Жирный сладковатый дым поднимается к потолку от лица мертвого повара.

Свеча на столе у Нэша – единственный свет в помещении.

Нэш поднимает глаза. Его губы испачканы красным чили. Он говорит:

– Я подумал, что тебе захочется поговорить спокойно. Чтобы нам никто не мешал.

Он в своей белой форме. Мертвый мужчина рядом – в точно такой же форме.

– Мой партнер, – говорит Нэш, кивая на тело. Когда он кивает, его хвостик, который торчит на макушке, как чахлая пальмочка, слегка подрагивает. Вся грудь его белой рубашки заляпана красным чили. Нэш говорит: – Давно уже собирался его убаюкать.

У меня за спиной открывается дверь, и в бар входит мужчина. Он останавливается на пороге и обводит глазами зал. Машет рукой, разгоняя дым, и говорит:

– Какого хрена?

Дверь захлопывается за ним.

Нэш наклоняет голову и лезет пальцами в нагрудный карман. Достает белую картонную карточку в желтых и красных пятнах от соусов и читает баюльную песню вслух, ровно и монотонно, словно считает – словно это не слова, а цифры. Точно так же, как Элен.

Человек в дверях замирает и закатывает глаза, так что видны только белки. Его ноги подкашиваются, и он падает набок.

Я просто стою и смотрю.

Нэш убирает карточку обратно в карман и говорит:

– Ну вот.

И я говорю: где ты нашел стихотворение?

И Нэш говорит:

– Догадайся. – Он говорит: – В единственном месте, где ты не сможешь ее уничтожить.

Он берет со стола бутылку пива и тычет горлышком в мою сторону.

Он говорит:

– Подумай. – Он говорит: – Подумай как следует.

Книга «*Стихи и потешки со всего света*» всегда будет там. Доступна всем, для всеобщего пользования. Лежит буквально на глазах. Только в одном месте, говорит он. И оттуда ее не забрать.

Совершенно без всякой связи мне вспоминается костер кровельный. И речные мидии. И Устрица.

Нэш отпивает пива, ставит бутылку на стол и говорит:

– Подумай как следует.

Я говорю: манекенщицы, все эти убийства... Я говорю: то, что он делает, это неправильно.

И Нэш говорит:

– Ты сдаешься?

Он должен понять, что секс с мертвыми женщинами – это неправильно.

Нэш берет ложку и говорит:

– В старой добной библиотеке Конгресса. Которая – на деньги налогоплательщиков.

Черт.

Он окунает ложку в миску с чили. Подносит ложку ко рту и говорит:

– Только не надо читать мне лекцию на тему: некрофилия – как это плохо. – Он говорит: – А то получится из серии «чья бы корова мычала». – Нэш говорит с полным ртом чили: – Я знаю, кто ты.

Он глотает и говорит:

– Тебя все еще разыскивают для дознания.

Он облизывает губы, испачканные в красном чили, и говорит:

– Я видел свидетельство о смерти твоей жены. – Он улыбается и говорит: – Признаки сексуального контакта, произведенного после смерти?

Нэш указывает на пустой стул, и я сажусь.

Он подается вперед, ложась грудью на стол, и говорит:

– И это был лучший секс в твоей жизни. И не говори мне, что нет.

И я говорю: заткнись.

– Ты не сможешь меня убить, – говорит Нэш. Он крошит сухарики в миску с чили и говорит: – Мы с тобой очень похожи.

Я говорю: в моем случае это – другое. Она была мне женой.

– Жена или нет, – говорит Нэш, – но мертвая есть мертвая. Как ни крути, это некрофилия.

Нэш зачерпывает ложкой сухарики в чили и говорит:

– Убить меня – для тебя это равносильно самоубийству.

Я говорю: заткнись.

– Расслабься, – говорит он. – Я никому ничего не рассказывал. – Он хрустит сухариками в чили. – Это было бы глупо. – Он говорит: – Сам подумай. – Он отправляет в рот очередную ложку чили. – Мне невыгодно, чтобы кто-то еще узнал. Мне не нужна конкуренция.

Несовершенный, безнравственный – вот мир, в котором я живу. Так далеко от Бога – вот люди, с которыми я остался. Все хотят власти. Мона и Элен, Нэш и Устрица. Те немногие, кто меня знает, – все меня ненавидят. Мы все ненавидим друг друга. Мы все друг друга боимся. Весь мир – мне враг.

– Мы с тобой, – говорит Нэш, – нам нельзя доверять никому.

Добро пожаловать в ад.

Если Мона права, если прав Карл Маркс, которого она цитировала, то убить Нэша означает его спасти. Вернуть его к Богу. Вернуть его к человечеству, искупив его грехи.

Наши взгляды встречаются, и губы Нэша вылепливают слова. Его дыхание пахнет чили.

Он читает баюльную песню. Каждое слово – с нажимом, словно надрывный собачий лай. Каждое слово – с нажимом, так что чили пузырится у него на губах. Летят капельки красной слюны. Он умолкает и лезет в нагрудный карман. Чтобы достать карточку. Он вынимает ее двумя пальцами и читает уже по карточке. Карточка вся заляпана соусом, так что он вытирает ее о скатерть и читает по новой.

Слова звучат мощно и сильно. Это звук смертного приговора.

Мой взор мутнеет, мир расплывается серыми пятнами. Все мышцы вдруг обмякают. Глаза закатываются, колени подгибаются сами собой.

Значит, вот как это – умирать. Чтобы спастись.

Но убийство – это уже рефлекс. Это – мой способ решать все проблемы.

Колени подгибаются, и я падаю на пол. Ударяюсь сначала задницей, потом – спиной, а потом – головой.

Все происходит само собой. Непроизвольно, как отрыжка, как чих, как зевок. Баюльная песня звучит у меня в голове. Пороховая бочка с дермом, которое я до сих пор не разгреб, – она всегда при мне.

Расплывчатый серый мир вновь обретает четкость. Я лежу на спине на

полу и смотрю на жирный серый дым, клубящийся под потолком. Слышно, как трещит кожа мертвого повара, поджариваясь на гриле.

Нэш роняет карточку на стол. У него закатываются глаза. Плечи вдруг опускаются, и он падает вниз лицом – прямо в миску с чили. Красный соус выплескивается на скатерть. Его тело медленно валится набок, и он падает на пол рядом со мной. Его глаза широко открыты – смотрят мне прямо в глаза. Его лицо все измазано в чили. Его хвостик, который торчал на макушке, как чахлая пальмочка, растрепался, и волосы упали ему на лицо.

Он спасен, но я – нет.

Серый дым обволакивает меня, гриль шипит и шкварчит. Я поднимаю с пола карточку Нэша и подношу ее к пламени свечи на столе. Дым – к дыму. Я просто смотрю, как она горит.

Включается сирена, пожарная сигнализация. Сирена такая громкая, что я не слышу собственных мыслей. Как будто они вообще есть – мысли. Как будто я могу думать. Вой сирены распирает меня изнутри. Большой Брат. Он занимает мой разум, как армия – павший город. Пока я сижу – жду полицию, которая меня спасет. Вернет меня к Богу и воссоединит с человечеством. Вой сирены заглушает все. И я этому рад.

Глава сорок первая

Уже после того как полицейские зачитали мне мои права. После того как на меня надели наручники и привезли в участок. После того как в бар вошел первый патрульный, увидел тела и сказал: «Господи Иисусе». После того как полицейские врачи сняли мертвого повара с гриля, увидели его сожженное лицо и проблевались прямо себе в ладони. После того как мне разрешили сделать один звонок, и я позвонил Элен и сказал, что мне очень жаль, но вот оно и случилось. Я арестован. И Элен сказала:

– Не волнуйся. Я тебя вытащу.

После того как у меня взяли отпечатки пальцев и сфотографировали меня анфас и в профиль. После того как у меня отобрали бумажник, ключи и часы. Мою одежду, мою спортивную куртку и синий галстук сложили в пластиковый пакет, надписанный не именем, а моим новым криминальным номером. После того как меня – голого – провели по холодному коридору из шлакобетонных блоков в холодную бетонную комнату. После того как меня оставили наедине с деловитым пожилым офицером – дородным и крепким, с руками размером с бейсбольные рукавицы. В комнате, где только стол, мешок с моей одеждой и большая банка с вазелином.

После того как меня оставили наедине с этим седым старым буйволом, он надевает хирургическую перчатку и говорит:

– Пожалуйста, повернитесь лицом к стене, наклонитесь вперед и раздвиньте руками ягодицы.

Я говорю: что?!

И этот хмурый гигант опускает два пальца в перчатке в банку с вазелином и говорит:

– Обыск на теле. – Он говорит: – Пожалуйста, повернитесь.

И я считаю – раз, я считаю – два, я считаю – три...

И поворачиваюсь к стене. И наклоняюсь вперед. Хватаюсь руками за ягодицы и раздвигаю их.

И считаю – четыре, считаю – пять, считаю – шесть...

Я со своей неудачной убогой этикой. Как и Вальтруда Вагнер, как Джейфри Дамер и Тед Банди, я – серийный убийца, и так начинается мое наказание. Доказательство свободы воли. Моя дорога к спасению.

Голос у копа прокуренный, хриплый. Он говорит:

– Стандартная процедура для всех задержанных, считающихся опасными.

Я считаю – семь, я считаю – восемь, считаю – девять...

И коп говорит:

– Будет не больно, но неприятно. Так что расслабьтесь.

Я считаю – десять, считаю – одиннадцать, считаю...

И черт.

Черт!

– Расслабьтесь, – говорит коп.

Черт. Черт. Черт. Черт. Черт! Черт!

Больно. Больнее, чем когда Мона ковырялась у меня в ноге раскаленным пинцетом. Больнее, чем медицинский спирт, смывающий с ноги кровь. Я впиваюсь ногтями себе в ягодицы и сжимаю зубы, по ногам течет пот. Пот стекает со лба и капает на пол с кончика носа. У меня перехватывает дыхание. Капли пота падают на пол у меня между ног. Ноги расставлены широко.

Что-то твердое и огромное вонзается еще глубже в меня, и коп говорит своим жутким голосом:

– Давай, приятель, расслабься.

Я считаю – двенадцать, считаю – тринадцать...

Шевеление у меня внутри прекращается. То самое твердое и огромное медленно вынимается, почти до конца. Но потом снова вонзается глубоко-глубоко. Медленно, как часовая стрелка на циферблате, а потом все быстрее. Смазанные вазелином пальцы входят в меня, почти вынимаются, снова входят.

И прямо мне в ухо коп говорит своим хриплым голосом:

– Эй, приятель... может, того... по-быстрому?

Спазм сотрясает все тело.

А коп говорит:

– Ух ты, как мы все сжались-то.

Я говорю: офицер. Пожалуйста. Вы не понимаете. Я могу вас убить. Пожалуйста, не надо.

А коп говорит:

– Дай мне вытащить пальцы, и я сниму с тебя наручники. Это я, Элен.

Элен?

– Элен Гувер Бойль? Не забыл еще? – говорит коп. – Позавчера ночью ты мне почти так же вставлял внутри люстры.

Элен?

Это самое твердое и огромное по-прежнему копошится у меня внутри.

И коп говорит:

– Называется «заклинание временного захвата». Я его только что

перевела, буквально пару часов назад. Сам офицер тоже здесь, но глубоко в подсознании. А телом управляю я.

Мне в голую задницу упирается холодный и твердый ботинок, и огромные твердые пальцы рывком выходят из меня. На полу у меня между ног – лужица пота. Я выпрямляюсь, по-прежнему сжимая зубы.

Офицер смотрит на свои пальцы и говорит:

– Я уже испугалась, что они так и останутся в том интересном месте. – Он нюхает пальцы и морщится.

Замечательно, говорю я. Я стараюсь дышать глубоко; глаза закрыты. Сначала она управляла мной, а теперь я еще должен переживать за то, что она управляет другими. Делать мне больше нечего.

И коп говорит:

– Последние пару часов я была в теле Моны. Просто чтобы проверить, как действует заклинание, и чтобы сравнять счет за то, что она тебя напугала, я ее чуточку реконструировала. В смысле внешности.

Коп хватает себя за яйца.

– Поразительно. Я тут так с тобой возбудилась, что у меня эрекция. – Он говорит: – Я, конечно, не женофоб, но я всегда мечтала о том, чтобы у меня был пенис.

Я говорю: замолчи, не хочу это слушать.

И Элен говорит, ртом старого копа она говорит:

– Я думаю, что посажу тебя в такси, а сама задержусь в теле этого дядьки и кого-нибудь трахну. Ради нового опыта.

И я говорю: если ты думаешь, что таким образом сможешь заставить меня полюбить тебя, то ты глубоко ошибаешься.

По щеке копа стекает слеза.

Я стою перед ней голый и говорю: я тебя не хочу. Я тебе не доверяю.

– Ты не можешь меня любить, – говорит коп, говорит Элен его хриплым прокуренным голосом, – потому что я женщина и у меня больше власти.

И я говорю: Элен, еб твою мать. Уходи. Чтобы я тебя больше не видел. Ты мне не нужна. Я хочу заплатить за свои преступления. Я устал портить мир просто ради того, чтобы оправдать свое мерзкое поведение.

Коп уже даже не плачет – рыдает в голос. В комнату входит еще один коп. Этот – совсем еще молодой. Он смотрит на старого копа, заливающегося слезами, потом – на меня, голого. Молоденький коп говорит:

– У вас все нормально, Сержант?

– Все замечательно, – говорит старый коп, вытирая глаза. – Мы тут

славно проводим время. – Только теперь он замечает, что вытер глаза рукой в перчатке, теми самыми пальцами, которые побывали у меня в заднице; он кривится и сдирает перчатку. Его аж передернуло от омерзения. Он швыряет перчатку через всю комнату.

Я говорю молодому копу: мы тут просто беседуем.

А он суёт кулак мне под нос и говорит:

– А ты, бля, заткнись.

Старый коп, Сержант, присаживается на край стола и сжимает колени. Он шмыгает носом, сдерживая слезы, запрокидывает голову, как это делается, когда надо отбросить с лица длинные волосы, и говорит:

– Слушай, если ты не возражаешь, нам бы очень хотелось остаться одним.

Я просто смотрю в потолок.

Молоденький коп говорит:

– Нет проблем, Сержант.

Сержант хватает бумажную салфетку и вытирает глаза.

И тут молоденький коп подлетает ко мне, хватает под подбородок и впечатывает меня в стену. Мои ноги и спина прижимаются к холодному бетону. Молоденький коп запрокидывает мне голову и сжимает горло. Он говорит:

– И не вздумай мне тут обижать Сержанта! – Он кричит мне в лицо: – Ты понял?

Сержант поднимает глаза и говорит со слабой улыбкой:

– Ага. Слушай, что тебе говорят. – Он шмыгает носом.

Молоденький коп отпускает меня. Он идет к выходу и говорит:

– Я буду в соседней комнате, если вдруг... если вдруг что-то понадобится.

– Спасибо, – говорит Сержант. Он хватает второго копа за руку, крепко ее пожимает и говорит: – Ты такой славный.

Молодой коп вырывает руку и быстро уходит.

Элен внутри этого человека. Чем-то похоже на ту заразу, которую телевидение впихивает нам в мозги. На то, как костер кровельный вытесняет собой остальные растения. На привязчивую мелодию, которая звучит и звучит у тебя в голове. На дом с привидениями. На вирус гриппа. На то, как Большой Брат занимает твоё внимание.

Сержант, Элен, отрывается от стола. Расстегивает кобуру и достает пистолет. Держа пистолет обеими руками, он целится в меня и говорит:

– Давай доставай свои шмотки и одевайся. – Сержант шмыгает носом и пинает мне пластиковый пакет с одеждой. Он говорит: – Одевайся, тебе

говорят. Я пришла, чтобы тебя спасти.

Пистолет дрожит у него в руке, и Сержант говорит:

– Чем скорее ты выйдешь отсюда, тем скорее я освобожусь и пойду все-таки потрахаюсь.

Глава сорок вторая

Повсюду – слова смешиваются друг с другом. Слова, лирические монологи и диалоги – гремучая смесь, способная вызвать цепную реакцию. Может быть, форсмажорные обстоятельства – это просто правильная комбинация информационного мусора, выброшенного в эфир. Дурные слова сталкиваются друг с другом и вызывают землетрясение. Точно так же, как заклинатели дождя вызывают грозу, правильная комбинация слов может вызвать торнадо. Может быть, глобальное потепление вызвано критической массой рекламных роликов. Многочисленные телевизионные повторы вызывают разрушительные ураганы. Рак. СПИД.

В такси, по дороге к «Элен Бойль. Продажа недвижимости», я смотрю на газетные заголовки и объявления, написанные от руки. Листовки, приkleенные к телефонным столбам, смешиваются с макулатурной почтой. Песни уличных музыкантов смешиваются с песнями из музыкальных автоматов, смешиваются с воплями уличных продавцов, смешиваются с радио.

Мы живем в шаткой башне бессвязного бормотания. В зыбкой реальности слов. В биомассе, генетически запрограммированной на болезнь. Простой и естественный мир давно уничтожен. Нам остался лишь беспорядочный мир языка.

Большой Брат поет и пляшет, а нам остается только смотреть и слушать. Палки и камни могут и покалечить, но наша роль – быть хорошими зрителями. Внимательно слушать, смотреть и ждать новой болезни.

Мне неудобно сидеть в такси. Ощущение такое, что задница до сих пор жирная и растянутая.

Осталось найти еще тридцать три экземпляра книги с баульной песней. Нужно пойти в библиотеку Конгресса. Нужно закончить начатое и сделать так, чтобы ничего подобного больше не повторилось.

Нужно предостеречь людей. Моя прежняя жизнь закончилась. Вот – моя новая жизнь.

Такси подъезжает к зданию. Мона стоит на крыльце у входа и запирает дверь ключом из большой связки. Это может быть и Элен. Ее красно-черные дреды распущены, волосы зачесаны назад и взбиты в высокую прическу. На ней – коричневый костюм, но коричневый не как шоколад. Скорее – как шоколадный трюфель с орехами, сервированный на атласной

салфетке в ресторане дорогого отеля.

У ног Моны – картонная коробка. Сверху на коробке – какая-то книга в красном переплете. Гrimuар.

Я иду через стоянку, Мона видит меня и кричит:

– Элен здесь нет.

По радиосканеру передавали о баре на Третьей авеню, говорит Мона. Что там все мертвые, а я арестован. Она ставит коробку в багажник своей машины и говорит:

– Ты буквально на пару минут опоздал. Миссис Бойль только что убежала в слезах.

Сержант.

Машины Элен на стоянке нет.

Мона смотрит на свои коричневые туфли на шпильках, на свой облегающий пиджак с подкладными плечами – кукольная одежда с огромными пуговицами из топазов, – на свою мини-юбку и говорит:

– И не спрашивай, как это случилось. – Она протягивает мне руки. Ее обычно черные ногти теперь покрашены ярко-розовым лаком с белыми кончиками. Она говорит: – Пожалуйста, передай миссис Бойль, что мне не нравится, когда мое тело берут без спроса и творят над ним всякие гадости. – Она указывает на свою взбитую прическу, щеки, подкрашенные румянами, и розовую помаду. – Это равносильно стилистическому изнасилованию.

Мона захлопывает багажник, надавив на него рукой с розовыми ногтями.

Она показывает на мою рубашку и говорит:

– Разборка с другом была кровавой?

Я говорю: эти красные пятна – от чили.

Я говорю: гримуар. Я его видел. Красная человеческая кожа. Татуировка-пентаграмма.

– Она мне его отдала, – говорит Мона. Она открывает свою коричневую сумочку и запускает туда руку. Она говорит: – Сказала, что ей он больше не нужен. Как я уже говорила, она была очень расстроена. Она плакала.

Двумя пальцами с розовыми ногтями Мона выуживает из сумочки сложенный листок бумаги. Это страница из гримуара. Страница с моим именем. Мона дает листок мне и говорит:

– Ты осторожнее. Как я понимаю, кому-то в каком-то правительстве очень хочется твоей смерти.

Мона говорит:

– Как я понимаю, приворотные чары Элен неожиданно привели к обратным результатам. – Она пошатывается на высоких шпильках и приваливается спиной к машине. Она говорит: – Хочешь – верь, хочешь – нет, но мы это делаем, чтобы тебя спасти.

На заднем сиденье лежит Устрица. Лежит неподвижно и тихо, вроде бы спит, но он слишком спокойный и совершенный для того, чтобы просто спать. Его длинные белые волосы разметались по всему сиденью. Его мешочек для талисманов по-прежнему висит у него на шее. Сейчас он открыт, и из него вываливается пачка сигарет. Красные шрамы у него на щеках – от ключей Элен.

Я спрашиваю: он что, мертвый?

И Мона говорит:

– Не дождитесь. – Она говорит: – С ним все в порядке. – Она садится за руль и заводит машину. Она говорит: – Тебе лучше поторопиться и разыскать Элен. Боюсь, она может сейчас совершить какой-нибудь отчаянный поступок.

Она захлопывает свою дверцу, и машина трогается с места.

Мона кричит мне, приоткрыв окно:

– Медицинский центр «Новый континуум». – Она кричит, выезжая со стоянки: – Надеюсь, еще не поздно.

Глава сорок третья

Палата № 131 в Медицинском центре «Новый континуум». Пол переливается всеми цветами радуги. Линолеум хрустит у меня под ногами, когда я иду по осколкам красного и зеленого, желтого и голубого. Капельки красного. Бриллианты и рубины, изумруды и сапфиры. Тут же валяются туфли Элен. Одна – розовая, вторая – желтая. Каблуки-шпильки разбиты до состояния каши. Испорченные туфли – на полу в самом центре комнаты.

Элен стоит в дальнем конце комнаты, в тусклом мерцании, на самом краю круга света от настольной лампы. Стоит, склонившись над каким-то ящиком из нержавеющей стали. Ее руки раскинуты и обнимают холодную сталь. Она прижимается щекой к крышке ящика.

У меня под ногами хрустят разноцветные камни, и Элен оборачивается на звук.

Ее губы в розовой помаде испачканы кровью. На крышке ящика – отпечаток поцелуя, розовый с красным. В крышке – окошко из мутного серого стекла, а внутри лежит маленький человечек – слишком белый и совершенный для того, чтобы просто спать.

Патрик.

Узорная наледь по краю окошка уже начала подтаивать, и вода капает внутрь.

Элен говорит:

– Ты пришел. – Ее голос звучит невнятно и глухо. Тонкая струйка крови течет изо рта.

Я смотрю на нее, и у меня вдруг начинает болеть нога.

Со мной все в порядке, говорю я.

И Элен говорит:

– Я за тебя рада.

Ее косметичка лежит развороченная на полу. Среди разноцветных осколков – перепутанные цепочки, золотые и платиновые. Элен говорит:

– Я пыталась разбить самые крупные. – Она кашляет, прикрывая рот рукой. – Остальные я пыталась разгрызть. – Она опять кашляет. Ее ладонь – вся в крови и в белых осколках.

Рядом с косметичкой – опрокинутая бутылка с жидкостью для прочистки труб. Под ней натекла зеленая лужица.

У нее переломаны все зубы. Многих недостает вообще. Она прижимается лицом к серому стеклу. Стекло туманится от ее дыхания. Она

вытирает окровавленные руки о юбку.

— Я не хочу возвращаться к тому, как все было раньше, — говорит она, — к той жизни, какая была у меня до того, как мы с тобой встретились. — Она все вытирает и вытирает руки о юбку. — Даже со всей властью в мире.

Я говорю, что ей срочно нужно в больницу.

А Элен улыбается окровавленными губами и говорит:

— Мы и так в больнице.

Ничего личного, говорит Элен. Ей просто нужен был кто-то. Хоть кто-нибудь. Даже если она и сумеет воскресить Патрика, она не хочет ломать ему жизнь, разделив с ним баюльные чары. Даже если это означает, что она снова будет одна, ей не хочется, чтобы у Патрика была эта власть.

— Посмотри на него, — говорит она и прикасается к серому стеклу своими розовыми ногтями. — Он такой хороший.

Она слегка сглатывает слону вместе с кровью, обломками зубов и разбитыми бриллиантами. Ее лицо кривится в кошмарной гримасе. Она хватается за живот и едва не ложится на стальной ящик с серым окошком. Кровь и вода от оттаявшей наледи текут внутрь.

Дрожащей рукой Элен открывает сумочку и достает тюбик помады. Она красит губы, и розовая помада становится красной.

Она говорит, что отключила криогенную установку. Отключила сигнализацию и резервную батарею. Она хочет умереть вместе с Патриком.

Она хочет, чтобы все кончилось. Баюльные чары. Власть. Одиночество. Она хочет уничтожить все драгоценности, про которые люди думают, будто они их спасут. Все остатки былого величия, которые переживают красоту, ум и талант. Весь декоративный мусор, который остается, когда настоящие достижения и успех — все обращается прахом. Она хочет уничтожить все красивые вещи — паразитов, которые переживают своих хозяев-людей.

Сумочка падает у нее из рук. Серый камушек выпадает из сумки и катится по полу. Совершенно безо всякой связи мне вспоминается Устрица.

Элен громко рыгает. Вынимает из сумки бумажную салфетку, держит ее подо ртом и выплевывает на нее сгустки крови, желчь и расколотые изумруды. У нее во рту застрявшее в окровавленных деснах на месте зубов — осколки сапфиров и оранжевых бериллов. К небу прилипли кусочки красной шпинели. Язык весь в черной алмазной крошке.

Элен улыбается и говорит:

— Хочу быть вместе с моей семьей. — Она скатывает окровавленную салфетку в шарик и запихивает его под отворот манжета. Ее серьги, ее ожерелья и кольца — ничего больше нет.

Подробности о ее костюме: он какого-то цвета. Это костюм. Он безнадежно испорчен.

Она говорит:

– Пожалуйста. Обними меня.

В сером окошке – совершенный ребенок лежит, свернувшись калачиком, на подушке из белого пластика. Держит пальчик во рту. Совершенный и бледный – как синий лед.

Я обнимаю Элен, и она морщится.

У нее подкашиваются колени, и я опускаю ее на пол. Элен Гувер Бойль закрывает глаза. Она говорит:

– Спасибо, мистер Стрейтор.

Я поднимаю ее серый камень и бью им по холодному серому стеклу. Изрезанными в кровь руками я вынимаю Патрика, бледного и холодного, и кладу его, испачканного моей кровью, в руки Элен. Опускаюсь на пол рядом с ней и обнимаю ее.

Моя кровь с ее кровью – теперь смешались.

Лежа в моих объятиях, Элен закрывает глаза и кладет голову мне на колени. Она улыбается и говорит:

– Тебе не показалось, что это слишком уж странное совпадение, что Мона нашла гримуар?

Она открывает глаза, хитро щурится и говорит:

– Тебе не показалось, что это как-то уж слишком странно, что все это время гримуар был у нас?

Элен лежит у меня в объятиях и качает Патрика на руках. И вот тут оно и происходит. Она поднимает руку и вдруг щипает меня за щеку. Смотрит на меня и улыбается одной половиной рта. Хитрая улыбка в крови и зеленой желчи. Она подмигивает и говорит:

– Попался, папаша!

За секунду я весь покрываюсь холодным потом.

Элен говорит:

– Неужели ты правда думаешь, что мамочка стала бы убивать себя ради ТЕБЯ? И что она стала бы уничтожать свои мудацкие драгоценности? Или оттаивать этот замороженный кусок мяса? – Она смеется, у нее в горле булькает кровь и жидкость для прочистки труб. Она говорит: – Неужели ты правда думаешь, что мамочка стала бы грызть свои мудацкие бриллианты, потому что ты ее не любишь?

Я говорю: Устрица?

– Во плоти, – говорит Элен, говорит Устрица ртом Элен, голосом Элен. – Ну, то есть во плоти миссис Бойль. У нее внутри, где, готов

спорить, ты тоже уже побывал, но другим способом.

Элен поднимает Патрика на вытянутых руках. Ее ребенок, холодный и синий, как фарфоровая кукла. Замороженный и хрупкий, как стекло.

Она швыряет мертвого ребенка через всю комнату. Он ударяется о стальной ящик, падает на пол и вертится на линолеуме. Патрик. Одна замороженная рука при падении отламывается. Патрик. Вертящееся тельце задевает об угол ящика, и ножки тоже отламываются. Безрукое и безногое тело, сломанная кукла – оно ударяется головой о стену, и голова отлетает тоже.

Элен подмигивает и говорит:

– Да ладно тебе, папаша. Не льсти себе.

И я говорю: будь ты проклят.

Устрица занимает Элен, как армия – павший город. Как сама Элен – Сержанта. Как наше прошлое, СМИ и самый мир занимают тебя.

Элен говорит, Устрица говорит ртом Элен:

– Мона давно знала про гримуар. С того дня, как только увидела мамочкин ежедневник. Она сразу все поняла. – Он говорит: – Просто не могла его перевести.

Устрица говорит:

– Мое дело – музыка, а Монино… Монино дело – глупость.

Голосом Элен он говорит:

– Сегодня вечером Мона очнулась в каком-то салоне красоты, за столиком маникюрши, которая красила ей ногти розовым. – Он говорит: – Она вернулась в контору взбешенная и обнаружила, что миссис Бойль лежит лицом вниз на столе, вроде как в коме.

Элен вдруг всю передергивает, и она хватается за живот. Она говорит:

– На столе перед миссис Бойль лежал гримуар, открытый на странице с переводом заклинания *временного захвата чужого тела*. Как оказалось, все заклинания были переведены.

Она говорит, Устрица говорит:

– Благослови, Боже, мамочку и ее страсть к кроссвордам. А ведь она где-то есть. Наверное, злая как черт.

Устрица говорит ртом Элен:

– Увидишь мамочку, передавай ей привет.

Хрупкая синяя статуэтка, замороженный ребенок разбит на кусочки. Осколки ребенка – среди осколков драгоценных камней: отломанный пальчик, отбитые ножки, расколотая головка.

Я говорю: то есть теперь вы с Моной поубиваете всех и станете новыми Adamom и Eвой?

Каждое поколение хочет быть последним.

– Не всех, – говорит Элен. – Нам понадобятся рабы.

Он задирает юбку окровавленными руками Элен. Хватает себя за интимное место и говорит:

– Может, вы с мамочкой что-нибудь учудите по-быстрому, пока она не скопытилась?

И я отталкиваю от себя тело Элен.

Все мое тело болит. У меня никогда ничего не болело так сильно, даже нога.

Элен тихонько вскрикивает и сползает на пол. Ложится, свернувшись калачиком на холодном линолеуме среди осколков драгоценных камней и Патрика, и говорит:

– Карл?

Она подносит руку ко рту и чувствует осколки камней, застрявшие в деснах. Она поворачивается ко мне и говорит:

– Карл? Карл, где я?

Она смотрит на ящик из нержавеющей стали, видит разбитое стекло. Сначала она видит только отбитую ручку. Потом – ножки. Потом – головку. И говорит:

– Нет.

Брызжа кровавой слюной, Элен говорит:

– Нет! Нет! Нет!

Из-за сломанных зубов ее голос звучит невнятно и глухо. Она ползет по острым осколкам цветных камней и собирает кусочки. Заливаясь слезами, вся в желчи и крови, в комнате, где уже начинает совсем неприятно пахнуть, она собирает синие осколки. Крошечные ручки и ножки, тельце, расколотую головку – она прижимает их к груди и кричит:

– Патрик! Патти!

Она кричит:

– Мой Патти-Пат-Пат! Нет!

Целуя расколотую синюю головку, прижимая ее к груди, она спрашивает:

– Что происходит? Карл, помоги мне. – Она смотрит на меня, но тут спазм в желудке сгибает ее пополам, и она видит пустую бутылку из-под жидкости для прочистки труб.

– Господи, Карл, помоги мне, – говорит она, укачивая на руках обломки своего ребенка. – Скажи мне, пожалуйста, как я здесь оказалась!

И я подхожу к ней, обнимаю ее и говорю: поначалу новые хозяева делают вид, что не смотрят на пол в гостиной. То есть особенно не

приглядываются. Не тогда, когда смотрят дом в первый раз. И не тогда, когда перевозят вещи. Они измеряют комнаты, распоряжаются, куда ставить диваны и пианино, распаковывают коробки, и во всей этой суете у них не находится времени, чтобы посмотреть на пол в гостиной. Они делают вид.

Элен наклоняется к Патрику. У нее изо рта течет кровь. Руки у нее слабеют, и маленькие пальчики сыплются на пол.

Сейчас я останусь один. Это моя жизнь. И я даю себе слово, что – не важно, где и когда – я найду Устрицу с Моной.

Что хорошо – это займет меньше минуты.

Это старая песенка про зверей, которые ложатся спать. Песенка грустная и сентиментальная, и лицо у меня горит от окисленного гемоглобина, когда я читаю стихотворение вслух под яркой лампой дневного света, держа в объятиях обмякшее тело Элен, прислонившись спиной к стальному ящику. Патрик, испачканный моей кровью, испачканный ее кровью. Ее губы слегка приоткрыты, ее сверкающие зубы – настоящие бриллианты.

Ее звали Элен Гувер Бойль. У нее были голубые глаза.

Моя работа – подмечать все детали. Оставаться бесстрастным наблюдателем. Моя работа – не в том, чтобы чувствовать. Моя работа – писать репортажи.

Это называлось «баюльной песней». В некоторых древних культурах ее пели детям во время голода или засухи. Или когда племя так разрасталось, что уже не могло прокормиться на своей земле. Ее пели воинам, изувеченным в битве, и смертельно больным – всем, кому лучше было бы умереть. Чтобы унять их боль и избавить от мук.

Это – колыбельная.

Я говорю: все будет хорошо. Я сжимаю Элен в объятиях, укачиваю, как ребенка, и говорю ей: теперь отдыхай. Спи. Я говорю ей: все будет хорошо.

Глава сорок четвертая

Когда мне было двадцать, я женился на женщине по имени Джина Динджи и думал, что это теперь моя жизнь. Навсегда. Через год у нас родилась дочка, и я думал, что это теперь моя жизнь. Навсегда. Потом Джини и Катрин не стало. А я сбежал и стал Карлом Стрейтором. Я стал журналистом. И это была моя жизнь на протяжении двадцати лет.

А потом... вы уже знаете, что случилось потом.

Я не знаю, сколько времени я держал в объятиях Элен Гувер Бойль. А потом это была уже не она, а просто мертвое тело. Кровь у нее давно уже не текла. Но зато осколки Патрика у нее в руках оттали и начали кровоточить.

Потом снаружи раздались шаги, и дверь в палате № 131 открылась.

Я так и сижу на полу, обнимая мертвых Элен и Патрика, и дверь открывается, и в палату заходит седой коп-ирландец.

Сержант.

И я говорю: пожалуйста. Пожалуйста, посадите меня в тюрьму. Я признаю свою вину. Во всем признаюсь, во всем. Я убил жену. Я убил своего ребенка. Я – Вальтруда Вагнер, Ангел смерти. Убейте меня, чтобы мы с Элен опять были вместе.

И Сержант говорит:

– Надо скорей убираться отсюда. – Он проходит через палату к стальному ящику. Достает из кармана блокнот, что-то пишет, вырывает листок и протягивает его мне.

Его морщинистая рука вся в родинках. Волосы на руке тоже седые. Ногти – желтые и заскорузлые.

«Простите меня, но я не могу больше жить, – написано на листке. – Я иду к сыну. Теперь мы вместе».

Это почерк Элен. Тот же почерк, что и в ее ежедневнике, в гримуаре.

Подписано: «Элен Гувер Бойль», ее почерком.

Я смотрю на мертвое тело у меня в руках, все в крови и зеленой блевотине от жидкости для прочистки труб, потом смотрю на Сержанта, который стоит надо мной, и говорю: Элен?

– Во плоти, – говорит Сержант, говорит Элен. – Ну, не в своей плоти, а так – да, конечно, – говорит он и смотрит на тело Элен у меня в руках. Потом опускает глаза на свои старческие руки и говорит: – Ненавижу готовое платье, но на безрыбье и рак рыба.

Вот так и вышло, что мы снова в дороге.

Иногда я опасаюсь, что Сержант – это на самом деле Устрица, который прикидывается Элен, занявшей тело Сержанта. Когда мы с ней спим – кто бы это ни был, – я делаю вид, что это Мона. Или Джина. Так что в итоге все уравновешивается.

По словам Моны Саббат, люди, которые увлекаются выпивкой или обжорством, люди, подсевшие на наркотики и зацикленные на сексе, – на самом деле ими управляют духи тех, кто при жизни любил всякие непомерные удовольствия и не может остановиться даже теперь, после смерти. Пьяницы и kleptomany – все они одержимы бесами, злыми духами.

Мы все – медиумы от культуры. Мы все – чьи-то призраки.

Есть люди, которые все еще верят, что они управляют своими жизнями.

Мы все одержимы.

У каждого в жизни есть кто-то, кто никогда тебя не отпустит, и кто-то, кого никогда не отпустишь ты.

Нечто чужое всегда живет, воплощаясь в нас – живет через нас. Вся наша жизнь – это ворота, через которые нечто приходит в мир.

Злой дух. Теория. Маркетинговая кампания. Политическая стратегия. Религиозная доктрина.

Сержант увозит меня из Медицинского центра на патрульной машине. Он говорит:

– У них есть заклинание временного захвата чужого тела и заклинание, чтобы летать. – Он перечисляет, загибая пальцы. – У них есть заклинание воскрешения, но оно действует только на животных. И не спрашивай почему, – говорит он. Она говорит: – У них есть заклинание, чтобы вызвать дождь, и заклинание на ясную погоду... заклинание плодородия, чтобы растения росли быстрее... заклинание, чтобы понимать язык животных...

Не глядя на меня, глядя на свои руки на руле, Сержант говорит:

– У них нет приворотного заклинания.

То есть я действительно люблю Элен. По-настоящему. Женщину в теле мужчины. У нас больше нет жаркого секса, но, как сказал бы Нэш, чем подобные отношения отличаются от отношений любовников, которые прожили вместе достаточно долго?

У Моны с Устрицей есть гримуар, но у них нету баульной песни. Баульная песня была на странице, которую Мона вручила мне перед тем, как уехать, – на странице, где было записано мое имя. Внизу страницы.

Там же, внизу страницы, написано кое-что еще. «Я тоже хочу спасти мир – но не так, как предлагает Устрица». Подписано: Мона.

– У них нету баульной песни, – говорит Сержант, говорит Элен. – Но у них есть защитное заклинание.

Задающее заклинание?

Которое защищает их от баульной песни, говорит Сержант.

– Но все не так плохо, – говорит он. – У меня есть полицейский значок, пистолет и пенис.

Найти Устрицу с Моной несложно – надо искать чудеса. Фантастические заголовки в газетах. Заметки о сверхъестественном. В июле на озере Мичиган видели, как молодая пара перешла озеро по воде. Девушка приказала траве вырасти из-под снега, чтобы спасти бизонов, умиравших от голода в Канаде. Молодой человек разговаривает с потерявшимися собаками в приюте для животных и помогает им разыскать хозяев.

Надо искать колдовство. Надо искать святых.

Летучая Дева. Иисус Задавленных Зверюшек. Плющевый ад, зеленая угроза. Говорящая корова.

Погоня за чудесами – задним числом. Охота на ведьм. Это не то, что советуют психотерапевты. Но оно помогает.

Мона и Устрица. Очень скоро весь мир будет принадлежать им двоим. Произошло перераспределение власти. Мы с Элен будем вечно в дороге – в погоне. Представь себе, что Иисус гоняется за тобой, пытаясь поймать тебя и спасти твою душу. Что он не просто пассивный и терпеливый Бог, а въедливая и агрессивная ищейка.

Сержант со щелчком расстегивает кобуру, так же как Элен когда-то открывала сумочку, и достает пистолет.

Он говорит, Элен говорит, кто бы то ни был, он говорит:

– Как ты насчет того, чтобы прикончить их по старинке?

Теперь это моя жизнь.

notes

Примечания

1

Настольная игра, где нужно передвигать фишки по полю, бросая кубик. – *Примеч. пер.*

2

Короткая, но самая знаменитая речь президента Линкольна, которую он произнес 19 ноября 1863 года на открытии национального кладбища в Геттисберге. – *Примеч. пер.*